

Александр Экмекчи

Кремнистый путь

Повесть о М.Ю. Лермонтове

Семь искусств
Ганновер 2019



Александр Самойлович Экмекчи

Александр Самойлович Экмекчи — высокообразованный человек, воспитан на трудах классиков русской литературы, увлекался поэзией, Пушкин и Лермонтов были его кумиры. Он был также большим поклонником критических работ Виссариона Белинского, посвятившего многие свои труды творчеству этих двух выдающихся русских поэтов. Среди написанных Александром Экмекчи и никогда при его жизни не напечатанных произведений была повесть о Михаиле Лермонтове. Семья Александра Самойловича почти 70 лет спустя осуществила мечту автора.

Повесть «Кремнистый Путь», написанная в 1954—1955 годах, о последних днях жизни великого русского поэта Михаила Лермонтова и о событиях, приведших к его смерти. Автор ярко и убедительно доказывает, что придворные интриги, зависть и угодничество по отношению к сильным мира сего и стали настоящими убийцами поэта. Интересно и поэтично разворачивается любовная линия повести, нежные и трогательные отношения с избранницей поэта, их редкие, но насыщенные встречи будоражат воображение. Автор делал многочисленные, но тщетные попытки напечатать эту повесть в Советском Союзе, но бдительная советская цензура повесть в печать не допустила.

Оглавление

Глава первая	4
Глава вторая	43
Глава третья	77
Глава четвертая	127
Глава пятая	149
Биография автора	175

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

“...Я пустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга. Это, по крайней мере, откровенно. Все те, кого я преследовал в своих стихах, окружают меня теперь лестью. Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими, как триумфом. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ — отказали, не хотят даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними; вам, может быть, покажется странным, как можно искать удовольствий для того, чтобы скучать, как можно проводить время в гостиных, раз там не находишь ничего интересного. Ну, что же, я открою вам свои побуждения. Вы знаете, что самый мой большой недостаток — это тщеславие и самолюбие. Было время, когда я, в качестве новичка, искал доступ в это общество;

это мне не удалось: двери аристократических салонов закрылись предо мной, а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как искатель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, предо мной заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что ведь я тоже лев, да! Я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянять; к счастью, моя природная лень берет вверх, и мало-помалу я начинаю находить все это несносным. Но этот обретенный мною опыт полезен в том отношении, что дает мне орудие против общества: если оно будет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), у меня будет средство отомстить; нигде ведь нет столько пошлости и смешного, как там...”

(Из письма

Лермонтова к М. Лопухиной.)

2.

Теперь, когда окончена “Княжна Мери”, и все повести собраны вместе, не оставалось сомнений — книга хороша. Но этого слова боялся. В нём слишком много довольства собой, покоя и тишины. А где тишина — там скука, где довольство — там неподвижность. Он же всегда жаждал движения, ибо в движении жизнь. И все-таки книга хороша. Конечно, можно назвать ее по примеру Пушкина, благо, так и выбрана фамилия героя. Вторая после Онеги северная река Печора.

Но что означает название “Григорий Печорин”? Одно подражание. Нужна же совершенная ясность! Печорин — не случайная личность, не уникум и не автопортрет, это — герой времени, нашего времени. И неожиданно родилось название простое и великолепное — “Герой нашего времени”. Сразу стало свободно

на душе. Спала забота, ушли утомившие поиски. Он любил это состояние, когда после долгих мук найдено решение. Приходит нежданно уже забытая легкость, успокоение. Вот так же в природе — пасмурно, тучи, гроза, а потом улыбающаяся зелень, прозрачный воздух. И в стихах об этом писал, и стихи эти любил.

*С души, как бремя, скатится
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко.*

До вечера он просидел над рукописью. Краткость и точность. Есть один образец — Пушкин. И злился, когда чувствовал — не то слово, а лучшего не находил.

Неслышно вошел Иван, зажег свечи и стал у дверей. Знал: когда барин пишет, говорить не полагается, еще чем-нибудь запустит в голову. Но стоять надо. Барин заметит и сам спросит о деле.

— Ну чего глаза выпучил?

— Карету закладывать али нет? Вы намерднись...

Вспомнил — сегодня бал у графини Лаваль.

— Да, и побыстрее.

Он отложил рукопись.

3.

Нет, он не любил эти великосветские балы. И все же он ехал сегодня на бал к графине Лаваль так же, как на прошлой неделе ехал на бал к вюртембергскому посланнику князю Гогенлое, а на следующей неделе поедет куда-нибудь еще. Он был знаком с большинством гостей, приглашенных на сегодняшней бал, также, как и на прошедший, в посольстве, и на следующий, где бы он ни состоялся, и почти всех этих людей он не любил, а некоторых даже ненавидел. И все же он спешил на бал.

Может быть, его влекло туда стремление узнать высший свет с тем, чтобы потом осмеять его, как он писал об этом недавно в письме к Лопухиной? Конечно, эта мысль занимала, но она одна не заставила бы ехать. Что же тогда гнало на бал? Может быть тщеславие? Да, как это ни противно сознавать, — оно тоже. Женщины? Сегодня должны быть на балу и мамзель Сушкова, мадам Бахерахт, и графиня Мусина-Пушкина, и Мари Щербатова. Он любил волочиться сразу за несколькими. В этом своя прелесть — азарт игрока. Впрочем, волновать могла лишь мысль об одной. Княгиня Мария Алексеевна Щербатова, Мари, Машенька. Влекло не то, что было в ней княгиней, а то, что было Машенькой — красавицей с далекой Украины, темно-русой, с синими, как небо, глазами.

Влекла ее простота, любовь к нему. Не та, что вскипала на балу во вторник, и остывала на воскресном маскараде, а — он это знал достоверно, — большая, глубокая.

Так и писал ей недавно:

От дерзкого взора

В ней страсти не вспыхнут пожаром

Полюбит не скоро,

Зато не разлюбит уж даром.

И все же из-за нее одной не поехал бы на бал. Нет на свете такой женщины, ради которой, не задумываясь, пошел бы на все, если, конечно, забыть ту, что надо, но невозможно забыть. Вот уже сколько лет он душит в себе воспоминания о Вареньке Лопухиной, а так и не может задушить их.

Нет — нет, не из-за женщин он едет на бал, и не любовь влечет его туда. Другое чувство заставляет ехать! Он с каждым днем ощущает, как оно растет, крепнет, не дает покоя, как он, подчас, задыхается от него.

Там, на балу, будет, конечно, вся камарилья. И эта дрянь Нессельродиха, и мерзавец князь Петр Долгоруков, и этот заносчивый французик из посольства. Убийцы Пушкина! Одна мысль о них будит ненависть. Если только мог растоптать эту нечисть?! Ему надо видеть их, чтобы дерзить, оскорблять, чтобы бросать им в глаза гневные стихи...

Недавно на новогоднем балу сложились строчки, он повторял их почти ежедневно, как девиз. Он и сейчас твердил:

*О, как мне хочется смутить веселость их.
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..*

Карета остановилась на английской набережной у особняка графа Лаваль.

4.

Граф был сыном французского виноторговца, графиня — дочерью русского купца. Потомственный французский дворянин Тома де Томон выстроил для них самый

роскошный особняк в Петербурге. Особняк был молод, стоял меньше сорока лет, но обладал уже богатой историей.

Здесь устраивались самые пышные празднества, здесь, у зятя хозяина князя Сергея Трубецкого собирались декабристы, отсюда, избранный диктатором восставших, он не вышел к ним в день 14-го декабря, когда рядом на площади они подняли знамя восстания. Отсюда же отправился в Сибирь возок с княгиней, она следовала в ссылку за мужем. Здесь Пушкин в присутствии Мицкевича и Грибоедова читал “Бориса Годунова”. Здесь на концертах играли лучшие скрипачи Европы, пели знаменитейшие в мире певцы.

Мог ли Лермонтов знать, что его сегодняшний приезд обогатит еще историю этого дома?

Бал был в разгаре. С хор неслась музыка, разноцветные мундиры, взбитая пена кринолинов, черные пятна фраков — все

смешалось, шумело, мчалось в вальсе. В первую минуту это увлекло Лермонтова. Захотелось броситься в водоворот танца. Он уже направился в другой конец зала пригласить Щербатову на вальс — она еще на прошлом балу обещала танец и, конечно, ждет его. Но вдруг перед ним пронеслись, танцуя, Эрнест де Барант — сын французского посланника, — и Тереза фон Бахерахт. Барант покраснелся от удовольствия. Сегодня Тереза явно отдавала ему предпочтение. Шутка ли, успех у такой красавицы! Увидев Лермонтова, он состроил насмешливую улыбку и шепнул Бахерахт:

— Не понимаю, как принимают здесь этого нахала...

Лермонтов слов его не расслышал, но понял: Барант что-то нашептывает по его адресу. Желание танцевать исчезло. Никакого плана действий он не составлял, но знал уже твердо — этот вечер даром Баранту не пройдет. Будь это кто-либо другой — бог с ним. Но этот

из лагеря убийц. Язвить их колкостями, дразнить красным платком насмешек, как матадор дразнит быка на арене, чтобы потом вонзить ему шпагу в голову — вот где жизнь! Их слишком много? Нельзя убить? Что ж, зато можно взбесить.

Он подошел к мадам Бахерахт, лишь еле заметно кивнул головой Баранту. Не зря Терезу Бахерахт считали красавицей. Стройная фигура, бледное лицо с большим открытым лбом, каштановые волосы, тонкая шея и плечи, как у античной скульптуры. Она радостно улыбнулась Лермонтову.

— Должна сознаться, я боялась, что вас не будет на балу.

— Неужели вы думали обо мне?

Его черные глаза смотрели пронзительно. Она чувствовала на себе этот взгляд, словно тяжесть, но, как ни странно, это была приятная тяжесть. Лермонтов пригласил её танцевать, и она сразу же согласилась, забыв, что танец был

обещан Баранту. Они танцевали недолго. Прошли в соседнюю комнату. Там висели лучшие картины графа: “Точильщики ножей” Тенирса, “Римское милосердие” Гверчино, “Святое семейство” Фра Бартоломео.

— Я не могу оставаться равнодушной перед этими картинами. Искусство, искусство, ради него стоит жить.

Она рисуется, или это искренне? — подумал Лермонтов.

— Стоит жить? — переспросил он. — Чтобы наслаждаться им?

— Ну, конечно.

— Или творить это?

— Творить? О, да, но это дано лишь гениям. А какое счастье находиться вблизи гения, быть поверенной его дум, вдохновлять его.

Глаза ее затуманились, и она совсем незаметно прикоснулась своими оголенными плечами к Лермонтову.

Он не шевелился. Подумал: стоит сейчас только захотеть, и она уедет о ним и, конечно, будет готова на все из любопытства, из одного восторга перед великими.

А вдруг он тоже выйдет в великие... И в самом деле, может быть, увезти? Но вдруг опалило — а Щербатова? Нехорошо, совсем плохо. Там ждут его и любят, да, любят, и не потому, что он интересный экземпляр, такой монстр, а просто потому, что он это он, без хитростей и ложных восторгов. Хотя в последнее время он почти перестал переживать из-за огорчений, которые доставлял женщинам, и, наоборот, они иногда даже радовали его, сейчас он почувствовал угрызение совести.

Он еле отделался от мадам Бахрахт, оставив ее с вовремя подошедшим Жуковским (он все-таки тоже почти великий), и помчался искать Щербатову.

Она стояла с Барантом. Конечно, он и здесь на пути. Что ж, еще раз останется с носом.

Барант что-то оживленно рассказывал и, как все самовлюбленные люди, слышал лишь самого себя. Щербатова стояла рядом, бледная, с потухшим взглядом, скучающая, и, слыша каждое его слово в отдельности, не понимала, о чем он все же говорит, да и не старалась понимать.

И вдруг она увидела Лермонтова. Он подходил к ней. И, хотя она была зла на него, и знала, что должна это дать понять ему, она ничего не могла сделать с собой. Лицо ее оживилось, глаза зажглись.

Она неловко улыбнулась Баранту.

— Простите, пожалуйста, — и сделала шаг навстречу Лермонтову.

Он бережно поднес ее руку к губам.

— Виноват, знаю это и готов искупить вину любым наказанием.

Надо было немедленно придумать наказание, еще лучше — рассердиться, но она не могла сделать ни того, ни другого.

Я жду... Он сделал паузу.

Надо было сказать: “Княгиня”, но он повторил:

— Я жду, Мари, вашего приговора.

Она улыбнулась, но уже совсем по-иному: мягко, и с тем обаянием и лукавством, которые вовсе не хотела придавать своей улыбке, но они, помимо ее осознанной воли, сквозили теперь в каждом движении.

— Признанием вины, — сказала она, — вы искупили ее. Ведь судья должен быть милосердным.

— Если бы все судьи были подобны вам, давно уже земля стала б раем...

Барант отошел разъяренный.

5.

Тщеславие и зависть часто соседствуют с подлостью.

Князь Петр Владимирович Долгоруков или, как его называли из-за хромоты, “Банкаль”, т.е. косолапый, был беспредельно тщеславен, завистлив и подл.

Все люди делились у него на тех, к кому он был безразличен, и на тех, кого он ненавидел. Это он из ненависти собственноручно написал грязные анонимные пасквили, провоцируя дуэль Пушкина с Дантесом. Но подлость хитра. Она всегда старается остаться в тени. Только девяносто лет спустя удалось, наконец, с бесспорностью установить мерзкую роль Долгорукова в убийстве Пушкина.

С тех пор как Лермонтов после ссылки на Кавказ, вернулся в Петербург, Долгоруков потерял покой. Этот новоиспеченный поручик Лермонтов начинает пользоваться славой,

дамы кричат — герой, друзья — гений, люди солидные покачивают головой — талантливый молодой человек. Значит, опять он, Долгоруков, прямой потомок Рюриковичей, которому по праву — то и следовало, если говорить открыто, царствовать на Руси, человек, по меньшей мере, с необыкновенными способностями ума, в тени, а какой-то дворянинчик без роду да племени — кумир общества. К тому же заносчив, колюч, резок и, самое опасное, кажется, знает или догадывается об его роли в дуэли Пушкина.

Теперь Долгоруков следил за каждым шагом Лермонтова в гостиных, на балах. Видел: — тучи вокруг поэта сгущаются. Там, во дворце, никогда ничего не забывают и ничего не прощают. Помнят стихи на смерть Пушкина, их последние возмутительные строки. А недавно французский посланник Барант интересовался точным текстом этих стихов, не оскорблена ли в них честь Франции.

Плохо говорили о Лермонтове у графини Нессельроде. Великие княгини считают его дерзким, рассказывают — сам император на днях высказал явное неудовольствие последними новогодними стихами поэта.

Пожалуй, время расправы с этим выскочкой приспело.

Сегодня Долгоруков явился на бал с опозданием, он успел увидеть всё то, что хотел увидеть — и Лермонтова с Бахерахт, и оскорбленный вид Эрнеста Баранта, и разговор со Щербатовой.

Он встретил Баранта у выхода из зала.

— Я счастлив встрече с вами.

— Ах, это вы, князь.

— Вы оскорблены. Не отпирайтесь. Я все видел. Этот нахал давно заслуживает хорошего урока.

Барант молчал.

— И, слушайте, — Долгоруков наклонился к Баранту, — ведь он в душе трус.

Если вызовете — испугается. Кстати, только дайте слово, это совершенно конфиденциально, между нами.

— Слово чести.

— Мне достоверно известно — Лермонтов плохо отзывался о вас одной даме.

— Кому?

— Той что, вероятно, из-за этого отдала ему предпочтение.

— А что именно он говорил?

— Спокойствие, сударь, спокойствие. Я и так сказал вам больше, чем следует.

Долгоруков откланялся и последовал в отдалении за Барантом. Он прошел в зал, затем в картинную галерею и вдруг у выхода на лестницу лицом к лицу столкнулся с Лермонтовым.

Долгоруков, торопясь, сразу же выскользнул на лестничную площадку, и из-за этого, прихрамывая больше обычного, с трудом

спрятался за колонну. Наконец-то. Только бы не струсил французик...

— Месье Лермонтов, я хотел вас спросить кой о чем, — голос Баранта прерывался от волнения.

— К вашим услугам.

— Правда ли, что в разговоре с известной особой вы позволили себе говорить на мой счет невыгодные вещи?

Мальчишка бесится от ревности. Да, уж Щербатову ему не видать, как своих ушей. Лермонтов улыбнулся. На мгновение ему стадо жалко Баранта. Неудачные соперники всегда вызывают жалость.

— Ничего предосудительного я никому о вас не говорил.

Барант молчал несколько секунд. Как он ненавидел сейчас улыбающееся лицо Лермонтова, эти большие черные глаза, в которых так и бегала лукавая искорка презрения, тонкие губы, подчеркнутые

стрелками усов, скривившиеся в злой усмешке; небольшая, худощавая фигура Лермонтова, крупная голова с высоким лбом — все было ненавистным. Нет, так просто уйти нельзя.

— Все же, — продолжал Барант, — если переданные мне сплетни верны, вы поступили очень дурно.

Лермонтов побелел. И такого еще жалеть?!

— Я выговоров и советов не принимаю, и нахожу Ваше поведение смешным и дерзким.

Ах вот как! Русский выскочка!

Барант повысил голос.

— Если бы я находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить дело.

Лермонтов в гневе сжал кулаки. Это уже слишком. Теперь речь не обо мне — о России, о чести ее. Он тоже повысил голос. Пусть слышат все.

— В России следуют правилам чести также строго, — он говорил медленно, чеканя каждое слово, — как и везде, и мы, русские, меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно.

Барант оглянулся растерянный. Из-за колонны захромал сияющий Долгоруков, подошли Столыпин, князь Гагарин, Валуев. Отступать поздно и некуда. Теперь не оставалось ничего другого, как вызвать Лермонтова на дуэль.

6.

Итак, завтра дуэль. Попытки примирения ни к чему не привели. Барант требовал извинений. Лермонтов отказался наотрез. Драться условились сначала на шпагах, затем на пистолетах, стрелять с 20 шагов, вместе, по счету три.

Шаги, конечно, глупость. А вот пистолеты... Нет, он крови не жаждет. Проучил мальчишку и хватит... Но, говорят, Барант неплохой стрелок...

Лермонтов ходил по своей комнате. Мысли были отрывистые: о том, чтобы бабушка ничего не узнала, не то заболит от расстройства, о Пушкине. И он стрелялся с французом. Травили те же: дипломаты, Нессельроде, Долгоруков, Валуев. Это сравнение ободрило, хотя и предрекало смерть. Всякое сравнение себя с Пушкиным ободряло. Интересно вспомнить, как у него описана дуэль.

Лермонтов подошел к книжному шкафу и достал “Евгения Онегина”.

Его уж нет. Младой певец

Нашел безвременный конец.

Нет, не стоит думать о смерти. Лучше о другом.

Правильно ли подмечено в “Герое” состояние Печорина накануне дуэли с Грушницким?

Мысль показалась занятой. Вспомнил, как писал эту сцену. Вот также ходил тогда по комнате и представлял себе: я Печорин, завтра моя дуэль с Грушницким, и меня могут убить. Что я должен переживать? О чем думать? Только так, кстати, и можно писать. Автор должен перевоплощаться в своих героев, жить их мыслями, заставляя их делать и думать то, что они естественно должны делать и думать в силу своего характера и сложившихся обстоятельств. Кто-то рассказывал про Бальзака, что, однажды зайдя к нему, приятель услышал еще за дверью как Бальзак кричит: “Мерзавец! Я тебе покажу!” Приятель зашел в комнату и увидел — Бальзак один. Оказывается, он кричал на одного из своих героев, изобличая его в подлости. Бальзак

галлюцинировал. Вот так, до галлюцинации, и надо видеть все, о чем пишешь.

Лермонтов рассмеялся. Завтра дуэль, а о чем думаю? Но и эта мысль показалась забавной. В самом деле, разве не интересно наблюдать самого себя как бы со стороны, следить за собственными мыслями, за тем, как и почему они рождаются, в каком порядке скачут друг за другом?! И ведь действительно — дуэль, бабушка, Пушкин, “Евгений Онегин”, Печорин, как надо писать, Бальзак.

Мысли совершили круговорот. Он снова думал, правильно ли описано состояние Печорина перед дуэлью? Похоже ли оно на его нынешнее состояние? Впрочем, исправлять поздно, вчера рукопись сдана в цензуру.

Но Лермонтов нашел черновые записи.

“И, может быть, я завтра умру! — прочел он, — и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие — лучше,

чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то, и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!”

Хорошо написано, пожалуй, даже превосходно. Но он-то ведь не Печорин и живет, конечно, не из одного любопытства. А для чего живет? Для чего? Эта мысль обожгла. Но ведь и раньше он задавал себе этот вопрос и даже пытался ответить на него в стихах. Хотя бы в этих:

*Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русской душой.*

Байрона преследовали, его же, Лермонтова, ссылали, Байрона не терпел высший свет, его этот свет ненавидит. Но Байрон отдал свою жизнь свободе, сражаясь в

Греции, если не для своего, то хоть для чужого народа. А он, а он?

7.

Солнце сияло над Невским. Сверкала Адмиралтейская игла, и дома, залитые веселым светом, казались новыми. Все вокруг было повесенному радостным — и синее небо с будто игрушечными облачками, и нарядная публика, гроздьями высыпавшая на улицу, и даже еще мертвые, без листьев, деревья у Голландской церкви. Грешно грустить в такой день. И все же Белинский грустил. Он шел по Невскому от Грязной улицы к Мойке, в редакцию “Отечественных записок”.

Скоро полгода, как он переехал из Москвы в Петербург и чувствовал себя преотвратно. В Москве все казалось родным — друзья, книги, споры, в Петербурге — все холодным и серым: друзей нет, книги приходится читать пудами, без разбору, чтобы успеть заготовить к очередному номеру

журнала воз рецензий, жизнь сухая, одинокая. Даже страшно. Никого вокруг — ни друга, ни любимой женщины. А ведь нельзя сказать, чтобы жил отшельником. Наоборот, в Петербурге за несколько месяцев приобрел почти столько же знакомств, сколько за десяток лет жизни в Москве. Со многими литераторами познакомился у Панаева, с другими в редакции “Отечественных записок”. На одних вечерах у князя Одоевского встречал почти весь литературный, музыкальный и аристократический Петербург. Он находился теперь в центре умственной жизни, знал массу вещей, о которых раньше не имел и понятия, был в курсе всех петербургских новостей, даже дворцовых сплетен. И все же никогда еще не чувствовал себя столь одиноким и чужим. Все вокруг гадко и мерзко, вся петербургская российская действительность. А он, так недавно еще, признавал ее разумной! Слепец, которому нет прощенья. Чего бы только не

отдал сейчас, чтобы забыть, нет, стереть строки, где пел ей хвалу! Гадка литература, где славой пользуются продажные писаки, бездарности — булгарины и полевые, которые за грош не постесняются утопить в первой же луже и отца родного, гадка жизнь, где честный человек-страдалец, а негодяй преуспевает только потому, что он родился в знатной семье или создал богатство на людской крови и костях.

И вот эту действительность он ещё так недавно осмеливался признавать разумной. Слепец, которому нет прощения. Чего бы только он не отдал бы сейчас, чтобы забыть, нет стереть строки, где пел ей хвалу. Искренность заблуждения — не оправдание. Кому какое дело, почему он писал глупости. Пусть сам казнится этим и правдой искупит вину. Значит, все сначала. Истины нет, надо искать ее. Долгие поиски. Ведь истина, что золото. Чтобы добыть крупицу золота, надо

перемыть горы песка. Пока же, увы, один песок... И, как во все эти дни, всплыли в памяти стихи Лермонтова.

*Что страсти? Ведь рано иль поздно
их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка,
И жизнь, как помотришь
с холодным вниманьем вокруг,-
Такая пустая и глупая шутка!*

Он несколько раз повторил про себя эти стихи. Как написано! Да это не стихи, а настоящий реквием надежд.

Сколько тоски и силы! Словно вырвалась струя горячей крови из раны, с которой вдруг сорвали повязку. Но почему они так волнуют? Откуда такая сила? Не, потому ли, что в стихах мои мысли? Говоря о себе, поэт говорит обо мне, о другом, о третьем. В его стихах — мои чувства, чувства друзей, чувства поколения. Сердце поэта — сердце человечества. В его грусти я узнаю свою, в его душе — свою душу, и потому он для меня не только поэт, но и брат.

Мысли потоком хлынули на Белинского. Он почувствовал себя теперь уверенней и даже радостней. Да, истина, что золото. Перемывай горы песка и найдешь ее, обязательно найдешь. В этом жизнь...

Он так увлекся своими мыслями, что не заметил, как к нему подскочил сбитенщик — молодой парень в заломленной назад шапке с кумачовым верхом, курносый, с усмешкой, которая, казалось, навеки прилипла к его лицу. Он кричал над самым ухом:

— Сбитень, свежий сбитень, лучший сбитень, во всем Питере лучшего не выберите. Подходите, покупайте, по копейке мне давайте.

Как не купить у такого молодца?!

Белинский попросил налить ему стакан сбитня.

Парень с изумительной ловкостью перебросил чайник с руки на руку, налил сбитень, и, поклонившись, подал.

— На что уж девки хороши, песни тоже, а сбитень лучше. Пейте, барин, не жалейте, кушайте.

— Это ты сам стихами говорить научился?

— Чаво?

— Кто выучил тебя так складно говорить?

— Никто. Сам.

— Молодец. Сбитнем давно торгуешь?

— Не очень, чтобы. Все одно лучше, нежели поротым на конюшне валяться. Эх, барин, — он неожиданно подмигнул Белинскому, как знакомому, — мол, сам понимаешь, — отскочил и побежал дальше, выкрикивая:

— У меня, у Мити, покупайте сбитень. Свежий сбитень, лучший сбитень. Всю бы жизнь его лишь пить бы. стакан — копейка, покупай, пей-ка.

Он скрылся в толпе.

Белинский ускорил шаг. И, впрямь, грешно грустить в такой солнечный день. Вот сбитенщик — на конюшне порют, целый день бегают за гроши, а, может быть, и тот грош отбирает хозяин, но не унывает, наоборот, весел, находчив, так и брызжет из него жизнь. И ведь не один сбитенщик — весь народ в рабстве, как скот, во тьме, в мученьях, а бодр, смел, весел, талантлив. Народ, мужик рассейский — вот о чем думай, об его судьбе.

От этих мыслей словно свежим морским ветром дунуло — соленым, бодрящим.

Он вошел в редакцию “Отечественных записок”.

8.

Краевский любил щегольнуть необычным нарядом. И сейчас у себя в кабинете, в редакции он сидел за столом в черном шелковом халате и бархатной ермолке.

— А Виссарион Григорьевич, давно жду вас. Как со статьей о детских сказках?

— Вот она.

— Чудесно, чудесно.

Внезапно распахнулась дверь, и в комнату ворвался Лермонтов. Еще у порога он обронил шинель на стул.

— Добрый день, господа. Краевский, батюшка, что ты вырядился, словно алхимик?

— Ничего особенного. Одоевский одевается так же.

Лермонтов сморщил лицо, его звонкий голос по-старчески задребезжал.

— А как у вас обстоит, господин алхимик, с философским камнем?

— Оставь, что за детские шутки! Лучше ответь — новые стихи есть?

Лермонтов рассмеялся и плюхнулся в кресло.

— Никаких стихов.

— Безобразие, это просто безобразие, — Краевский раздраженно заходил по кабинету, — Сдаем новый номер в набор, и в нем не

будет твоих стихов. А ведь обещал. Смотри,
достану тайком твою новую поэму.

— Какую поэму?

— Знаю, все знаю. Ту самую о
грузинском монахе. И тисну ее в журнале.

Лермонтов вскипел.

— И думать не смей. Экая подлость.

— Отдай поэму сам.

— Она еще не готова.

— Ну, а для следующего номера дашь?

— Вряд ли, времени нет.

— Ты что же — все балами занят?

Лермонтов усмехнулся, но глаза
оставались холодными, суровыми.

— Нет, дуэлями.

— Что?

— Что слышишь. Я сейчас с дуэли.

— Не может быть. С кем?

— С Эрнестом Барантом — сыном
французского посланника.

Белинский ужаснулся.

Француз Барант, француз Дантес, — промелькнуло в уме, — и оба сыновья посланников.

— Ты здоров? Невредим?

— Совершенно.

— Но как это все произошло? — уже более спокойно спросил Краевский.

— Съехались сегодня за Черной речкой. Монго Столыпин, я пригласил его в секунданты, привез отточенные рапиры и пару кухенрейтеров, — Лермонтов еле заметно улыбнулся и, обернувшись к Белинскому, добавил, — Кухенрейторы — это пистолеты, француз избрал рапиры. Дрались по колена в снегу. Он оцарапал мне грудь, у меня же поломалась рапира. Монго подал пистолеты. Барант выстрелил первым и промахнулся, а я пустил пулю в небо. Вот и все.

— Ничего хорошего, если узнают про дуэль, под суд пойдешь?

— Семь бед, один ответ.

— Но ты ведь — талант, и беречь себя должен, — Краевский говорил тоном учителя, делающего выговор школьнику, — а тебя пошлют на Кавказ под черкесскую пулю.

— И прекрасно! Подальше от всей этой мрази.

Белинский смотрел на него с радостью. Как не понимал раньше Лермонтова! До сегодняшнего дня встречались лишь один раз, года три назад в Пятигорске. Неприятное воспоминание. Лермонтов показался тогда пустым светским офицером, удивительно было даже, что это он написал стихи “На смерть поэта”. Но и сам был в то время хорош. Порол всякую дичь о французских философах прошлого века вообще, о Вольтере, в частности. К счастью, все это — прошлое. Теперь Лермонтов другой. И ему здесь душно, тяжело. А это — лучшее мерило. В Питере легче всего узнать, человек ты или скотина. Если страдаешь — человек, если тебе хорошо здесь

— непременно станешь богачом или статским советником. И, конечно, светскость и надменность в Лермонтове напускное, машкерадный костюм. С волками жить — по-волчьи выть.

Лермонтов между тем рассказывал историю вызова на дуэль.

Белинский сначала слушал с неодобрением. Да будь оно проклято, это светское общество, где молодых людей вынуждают играть со смертью.

Но, когда Лермонтов рассказал о пренебрежении, с каким Барант говорил о России, Белинский вспыхнул и неожиданно для себя самого поднялся.

— Вы хорошо проучили заезжего наглеца. Хотя и считаю дуэль безмерной глупостью, но вы защищали честь русскую, и в этом оправдание ваше. А теперь, простите, мне пора.

Лермонтов вскочил.

— Вот видишь, Краевский, нашелся человек, который понял меня.

Он крепко пожал Белинскому руку.



ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

Военному человеку судить о политике не положено и думать о ней не рекомендуется. Это дело господ министров, господина канцлера, самого их императорского величества. Но, если уже дослужился до генерала и командуешь лейб-гвардейским полком, можно себе позволить такую вольность. Конечно, в пределах чином положенного. Заманчивая вещь эта политика. Так сказать, все в ней, все из нея. Особенно Grosspolitik — большая политика.

Хотя бы сия злополучная дуэль. Мало ли дуэлей в гвардии?! И ничего. А в этом дух политический. Попробуй унюхать, каково к ней отношение свыше!

Генерал-майор барон Фитингоф сегодня был очень доволен собой. Во-первых, понравилось слово “унюхать”. Надо почаще пользоваться такими словами. Пусть видят:

предки его немцы, но он настоящий русак. Кстати, “русак” тоже хорошее слово. Во-вторых, он сумел хорошо разобраться в политическом характере этой дуэли. Правда, сие выходило за рамки службы. Он лично не имел отношения к дуэли, учиненной поручиком соседнего лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым. Лишь получил указание о передаче одного дела на рассмотрение комиссии Военного суда лейб-гвардии кавалергардского полка.

Но и это поручение полагал важным. И потому, а более из любопытства, продолжал следить за ходом дела.

Сейчас он вызвал к себе полковника Полетика — презуса¹ комиссии Военного суда. Недалекий малый. Божья коровка.

Всегда под каблуком жены — особы ловкой, злой и красивой.

Ему полезно услышать умное мнение.

¹Название председателя суда до реформы 1867.

Барон открыл двери своего кабинета.

— Господин полковник, прошу.

Полковника Полетика недаром называли божьей коровкой. Он знал одну страсть — покой. Не задевайте меня, не трогайте, а я уже вас не трону. Но покой — мечта. Его везде трогали. На службе, дома. В полку — хлопотные и неприятные обязанности по комиссии Военного суда, дома — жена Идалия — с поклонниками, сплетнями, интригами. Ни минуты покоя. Сколько волнений принесла одна история Пушкина. И надо же было Идалии устроить свидание Дантеса с Натали Пушкиной у них на квартире в полку! На следующий же день об этом доложили Пушкину, а в результате дуэль. И Пушкина немного жаль, все-таки убит, а сочинял ведь недурные стишки. Но вот Дантеса того действительно жаль, весельчак, полковой товарищ, настоящий светский человек. И разжаловали, выслали... Теперь же возись с

делом Лермонтова. Тоже поэт. Все они бешеные, эти служители муз. Одни неприятности да хлопоты. И генерал, наверное, вызвал по этому делу. Что ж. Нет в мире покоя. Тяжко.

Фитингоф был любезен. Беседа ведь носила частный характер.

— Видимо, вы поняли, зачем я пригласил вас, полковник?

— По делу Лермонтова?

— Вы очень догадливы, — генерал улыбнулся, — мне хотелось бы, конечно, в сугубо неофициальном, я бы сказал, домашнем порядке поделиться с вами некоторыми соображениями по этому делу.

Он откашлялся и начал издали. Ныне отношения с Францией натянуты. Она поддерживает египетского пашу в его восстании против турецкого султана. Государь же не потерпит вмешательства в дела восточные. Известно также, что он не любит

французского короля, этого буржуа Луи Филиппа. И неспроста отдал любимую дочь, великую княгиню Марию Николаевну, за герцога Лейхтенбергского, ибо только невежде неведомо, что герцог состоит в родстве с Бонапартами. Больше того, говорят, — а по русской пословице, дыма без огня не бывает, — его величество обещал руку своей дочери, великой княжны Ольги Николаевны, самому Луи Наполеону.

Барон кашлянул многозначительно. Сейчас, когда высказался, даже удивился, как все умно у него получается.

— Вы, надеюсь, понимаете, к чему клоню?

Полетика ничего не понимал, но сознаться побоялся.

— Да, да, очень тонко, очень.

Фитингоф улыбнулся снисходительно. Не столь уж глуп этот Полетика.

Итак, за Бонапарта, но против Луи Филиппа. А посему отношения с Францией с каждым днем ухудшаются. Французский посол де Барант в беспокойстве. Сынок его тоже, и в гнев оскорбляет русского офицера. И причем, заметьте, автора весьма резких стихов против француза Дантеса. Но не на такого напал. Офицер сей честь превыше всего ставит и дает отпор иноземцу. И дело бы, конечно, не дошло до ареста и суда, если б не бабий язык госпожи Бахерахт. Этим юбкам всегда кажется, что стреляются из-за них. И как же не растрещать об этом повсюду. А когда слухи доходят до их величества, арест неминуем. Но причины дуэли благородны. Наказуемо, но благородно.

Вот теперь Полетика понял.

— Значит, снисхождения, а возможно, и прощения достоин?

Он обрадовался. Это уж точно — оно покойнее, когда прощают. Тише.

— Господин полковник, я этого не говорил. Как будет угодно их императорскому величеству. Нам неведомы высшие соображения, да-с, вот именно — высшие.

— Должен заметить, ваше превосходительство, в этом деле появились осложнения.

— Какие?

Полетика рассказал: Лермонтову сообщили, будто его показания о том, что он стрелял на дуэли в воздух, Барант называет ложными и трубит об этом во всех гостиных. Лермонтов в связи с этим пригласил Баранта к себе на Арсенальную гауптвахту и заявил, что, если эти слухи верны, он вызывает Баранта на новую дуэль. Барант струсил и сказал, что претензий к Лермонтову не имеет.

— Откуда эти данные, полковник?

— Донесение самой госпожи Барант — матери. Уже затребованы письменные ответы от Лермонтова.

— А Баранту вопросы посланы?

— Он отбыл во Францию третьего дня, не представив ответы на вопросы о самой дуэли. Господин канцлер граф Нессельроде сообщил, что он выехал на родину, хотя известно, что в это время он находился еще в Петербурге.

Барон задумался. О, сие сложная политика. Не допустил ли я ошибку?

— К тому же, — продолжал Полетика, — его сиятельство граф Александр Христофорович Бенкендорф настаивает, чтобы Лермонтов письменно отказался от своих показаний о том, что стрелял в воздух, как ложных и оскорбляющих сына французского посла.

Барон смутился: И зачем я сейчас разболтался?!

— Я вам ничего не говорил об этом деле, полковник, слышите, ничего. А поручик

Лермонтов, хотя быть может, и бравый офицер, но дерзок, не дозволительно дерзок.

— Как изволите вас понять, Ваше превосходительство?

— Никак. Сие не мое дело, и в этом я вам не командир. Как соблаговолит рассудить их императорское величество. Не смею вас задерживать, господин полковник.

Барон закашлялся. Все же человеку военному, даже если он и генерал, позволительно лишь думать о политике, но не рассуждать. Хотя и думать тоже не стоит. Спокойнее. Да-с.

2.

— Мари, вы?

Она отбросила вуаль.

— Вы... боже...

Его сделавшиеся вдруг необыкновенно большими глаза жадно вбирали в себя весь ее облик: разгоревшееся лицо с большими глазами, открытые белые плечи.

Она протянула ему руки, впервые шепнув не холодное — “Лермонтов”, а теплое, выношенное в мечтах — “Мишель”.

— Мари, — он целовал ей ладони, плечи, — Машенька.

Белые изящные руки, прекрасное, как у принцессы из сказок детства, лицо, лучистые синие глаза, в которых можно утонуть. Ничего другого сейчас не существовало на свете, ни о чем другом думать не мог.

— Я очень рад, что вижу вас, Машенька. — Слова избитые. Но разве дело в словах, а не в том, как они сказаны?

Она открыла глаза. Это был он — и не насмешливый, холодный, как всегда, а такой милый, влюбленный.

— Мишель, вас освободили? Совсем? Да?

— Нет, я вырвался лишь на полчаса для свиданья с вами.

— Вам разрешили?

— Конечно, нет.

— Но это же... — Тревога оборвала радость.

— Я боюсь за вас, Мишель.

— Скажи — за тебя.

— Боюсь за тебя, Мишель.

— Чепуха.

— Но мы должны расстаться.

— Что вы, Машенька?! У нас еще целых двадцать минут — почти вечность.

Он целовал ее, не выпуская из объятий. Но время не остановилось. Стук в двери. Надо расставаться.

Как ребенок, прильнул к ней. Она ворошила его густые волосы. Мысли исчезли. Ощущение еще неизведанной радости наполняло его.

Стук усилился. Больше оставаться нельзя. Бессвязные слова прощанья. Он выбежал из комнаты.

А через каких-нибудь полчаса все это казалось сном, видением, мечтой. Опять камера в ордонанс гаузе, высокое окно с решеткой, шаги часового за дверью, железная койка, стол, исписанный стихами, и одиночество. Девять шагов в длину, пять в ширину, по диагонали десять шагов. Но он не горевал. В сердце оставалась радость. Ну и что ж с того, что под арестом? Зато хорошо проучил иностранца — аристократишку, отомстил за Пушкина. И в том, что сейчас отказывается от настойчивых требований Бенкендорфа извиниться перед Барантом, признать ложными свои показания — тоже следовал за Пушкиным. Да, те же враги, что у Пушкина, также защищать свою честь, как Пушкин! И он почувствовал облегчение от сознания того, что и в поведении своём следует за Пушкиным.

Попробовал вспомнить разговор с Машенькой и не сумел. Не разговор жил в нем, а ощущение от разговора, не слова, а трепет свиданья, горечи разлуки.

Стихи, только стихи в состоянии выразить всё, что на сердце. Он не мог сейчас не написать их, схватил перо и, — на столе уже не было места, — нацарапал на стене:

*Есть речи — значенье
темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно*

*Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.*

И опять зашагал. Девять в длину, пять в ширину, по диагонали десять шагов.

3.

А на следующий день начались сомнения. В самом деле, любит ли он

Машеньку? Да и вообще возможна ль любовь? Конечно, все зависит от того — какая, к кому? Если ко всем — она смешна. Любить идиотов, заполняющих гостиные? Всю эту толпу? Бессмыслица. Так что же делать? Раздевать этих господ? Показывать нагишом? Но он так делал и в стихах, и в “Герое”. А толк? Все равно назовут клеветником. Тогда к чему вообще искусство? Какова его цель? Опять эта мысль! Лермонтов вскочил. К чертям! Лучше погляжу, как поживает соседка. Поднялся на носках. Теперь все хорошо видно. В окошке напротив открылась занавеска. Недурна, плутовка. Но, кажется, и ей горько. Вздыхает, бедняжка.

— Лермонтов, кого ты увидел в окне?

— Красотку, — спокойно ответил он и обернулся.

— Батюшки мои, Краевский, вот чудо. Ба, и Белинский с тобой. Прошу, господа,

прошу. Сюда, сюда на койку. Не стесняйтесь. В моем салоне это лучшая мебель.

— Ах, Мишель, Мишель, — Краевский не присел. — Бить тебя мало, да и некому. Бабушка повсюду бегает, хлопочет за тебя. А ты опять вызываешь Баранта, не слушаешься Бенкендорфа. Ходят разговоры, — государь недоволен тобой. Упекут теперь тебя, брат, упекут.

Лермонтов лишь пожал плечами. Что сделано, то сделано. Французишка оскорбил бы меня, а то Россию. И впредь так буду. Пусть хоть сгноят, а все равно буду. Он ничего не ответил.

— А как со стихами? Новые есть?

И хотя новые стихи были, и не один, сказал:

— Нет.

Пока стихи свежи — ранили самого, и не хотелось, чтобы еще кто-то копался в ране или даже только знал бы о ней.

Краевский заторопился.

— Должен бежать, а вы, Виссарион Григорьевич посидите, займите пленника.

Дверь захлопнулась. Послышались мерные шаги часового. Словно маятник. Тик-так. Тик-так. Молчание становилось неловким. Белинский ругал себя. Опять стеснительность. Глупо. Но что делать? Стеснительность — его несчастье. Да и не понять Лермонтова. В стихах, в романе о Печорине — это один человек, умный, тонкий, все понимающий, в жизни другой — то надменный, то, наоборот, простой; и одновременно какой-то пустой мальчишка.

Неловкость нарастала. Белинский с трудом подбирал слова о здоровье, о погоде. Но продолжать так нельзя. Он твердо решил уходить.

Лермонтов наблюдал за ним с любопытством. Вот что значит — не знать светского общества. Теряется, неловок.

Впрочем, с ним хоть об искусстве потолковать можно. Человек со своим мнением — ведь это такая редкость!

Лермонтов улыбнулся. И большие черные глаза его, так резко выделявшиеся на тонком и бледном юношеском лице, уже не сверлили насквозь, а смотрели мягко, располагающе. И с этой минуты словно потеплело в холодной камере.

Он неожиданно сказал:

— Читаю сейчас Купера. Прекрасный писатель. В его романах больше глубины и поэзии, чем у этого европейского кумира Вальтер Скотта, он выше его.

Белинский обрадовался. Это же его собственные мысли. И Лермонтов первый, кто думает точно так же.

Неловкость начала исчезать.

Белинский протянул Лермонтову свежую апрельскую книжку “Отечественных записок”. Собственно, она и была предлогом визита.

— Принес вам, здесь напечатаны последние ваши стихи “Журналист, читатель и писатель”. Должен сказать откровенно. Не согласен.

— Со мной?

— С вашими взглядами. Вы не видите цели в искусстве, боитесь, как бы страшная правда жизни не испугала б бедных читателей. Не хотите,

Чтоб бранью назвали коварной

Мою пророческую речь.

Лермонтов подумал: “Каков! Сразу быка за рога”.

— А искусство, — продолжал Белинский, — должно показывать действительность, как она есть. Обнажать раны жизни, а не прикрывать их лохмотьями лжи. И тогда действительность больше научит нас, чем все выдумки моралистов.

Лермонтов прервал его.

— Согласен. Но зачем все это делать, во имя какой цели?

— Исправления. В самом пороке его наказание. Вы указываете на порок и тем помогаете человеку уничтожить его.

— Попробуйте исправить таких, как Барант!

Утешительно, но не убедительно, — и сразу же, желая переменить бесплодную тему разговора, Лермонтов спросил:

— Кстати, вы успели уже прочесть “Героя нашего времени”?

— Ну, конечно, — Белинский засиял. Первым заговорить о повести не решался, а шел сюда с мыслями о ней. — Теряюсь, что у вас лучше — стихи или проза. Ясность, сжатость, многозначительность. Пушкин гордился б такой книгой!

Лермонтов остановил его.

— Не слишком ли?

— Не скромничайте, вы сильный талант, очень сильный.

Белинский встал, заходил по комнате. Это уж не абстрактные разговоры о цели искусства, где самому еще не все ясно. Живая книга — живые мысли. Теперь от застенчивости не осталось и следа.

— Намерен писать статью о вашем “Герое”. Сперва об образах. Две-три черты — и встает характер. Например, Максим Максимыч. Да его имя станет таким же нарицательным, как Чацкий, Фамусов, Иван Никифорович и Иван Иванович. Роман цельный, в нем нет красот, потому что в нем всё красота. А теперь о Печорине. Уверен, Шевырев, Полевой и прочие завоюют: нет таких людей на Руси. Лгуны, паяцы. Не обращайтесь на них внимания. Вами верно подмечено: — Печорин подлинный герой сегодня, и не пакостник он, и не развратник, а человек, который ищет применения своим богатым силам и не

находит. Он жаждет дела, а настоящего дела для честного человека в России сейчас нет.

Лермонтов смотрел на Белинского с удивлением. Вместо того сутулого, застенчивого человека с незаметным лицом, который только что сидел здесь, по камере расхаживал сильный, пожалуй, стройный мужчина, со стальными, но яркими глазами, по-новому освещавшими его теперь красивое, одухотворенное лицо.

— Но, знаете, — продолжал Белинский, — по-моему, вы сами как автор слишком близки к Печорину. А чтобы верно изобразить характер, надо стать выше его, смотреть на него, как на нечто оконченное.

Мысль, пожалуй, правильная. Да и все, что говорил сейчас Белинский умно и, кажется, верно. Лермонтов неожиданно для себя почувствовал, что он завидует Белинскому, его убежденности, страстности, силе обобщения. Цельный он, смелый, ищущий. А только тот

может быть назван настоящим человеком, кто ищет. Истина не новая. Но сейчас Лермонтов острее почувствовал ее правоту. И то, что Белинский был именно таким, делало его ближе, даже роднее.

Но этого Лермонтов не сказал. Он спросил о другом.

— Вы говорите, что Печорин герой лишь сегодня, следовательно, завтра он героем быть не может?

— Ни в коем случае. Печорин герой не времени нашего, а безвременья. Завтра же России нужен другой герой, не призрак, ни на что дельное не способный, а человек со своими убеждениями, человек действия. И он родится, — я верю в это, — родится и в жизни, и в литературе нашей.

А Белинский умеет убеждать. И все же сдаваться без боя не хотелось. Лермонтов пытался возражать. Он говорил, что все вокруг настолько мрачно, что ни о каком проблеске и

речи быть не может, и поэтому Печорины — болезнь тяжелая, надолго, возможно, даже неизлечимая. Но он сам чувствовал, что возражает вяло. Сомнение еще никогда не давало силы доводам.

Белинский улыбнулся снисходительно. И странно, хотя всегда снисходительность бесила Лермонтова, сейчас, напротив, она казалась естественной.

— Мне отрадно, — сказал Белинский, — несмотря на все ваши возражения, видеть в вашем озлобленном взгляде на жизнь и на людей семена глубокой веры в достоинства того и другого.

Надо бы возразить. Но Лермонтов сдался. Нет, нельзя возражать против правды, даже когда не хочешь сознаться в ней. И больше обращаясь к себе, чем к собеседнику, он оказал:

— Что ж, дай бог.

Наступило молчание, и Лермонтову вдруг неодолимо захотелось поделиться мечтой, заветным, о чем никому и никогда не говорил. Всегда самым хрупким из созданий представлялась мечта. Одно только чужое прикосновение может сломить ее. И все же сейчас он не мог и не хотел молчать.

— Вы знаете, о чем я мечтаю? — сказал он, — о времени, когда б

Мой стих, как божий дух, носился над толпой

И, отзыв мыслей благородных,

Звучал, как колокол на башне вечевой

Во дни торжеств и бед народных.

Белинский слушал эти старые стихи Лермонтова, закрыв глаза. Боже, до чего же хорошо, когда все одинаково: настроение, мысли, мечты.

— Это наша общая мечта, — медленно, будто отцеживая слова, ответил он, — и наш общий долг — сделать русскую литературу народной.

В комнату вошел дежурный офицер.

— Простите, я хотел напомнить гостю, что уже темнеет.

Офицер вышел. Белинский удивился:

— Что за вежливое нахальство?

— Такой стиль. Увы, придется прощаться.

— Жалко. Что ж, до свидания и..., — Белинский замялся на мгновение, — и спасибо за все, большое спасибо.

Он вдруг порывисто схватил Лермонтова в объятия, прижал к себе, сразу же отпустил и, не оглядываясь, вышел.

По улице он зашагал быстро, никого и ничего не замечая.

— Какой человек, какой талант, какой дьявольский талант! — твердил он. — Что за глубокий и могучий дух! Это будет настоящий русский поэт с... — он искал сравнения и не мог найти. Все, что приходило на ум, не годилось, казалось слишком ничтожным. По привычке вспомнилась, наконец, Москва: Собор Василия Блаженного, Кремль, колокольня Ивана Великого, вот именно — поэт с Ивана Великого! — вдруг сказал он вслух и обрадовался.

Зашагал еще быстрее. Ветер бил в лицо, но не холодный, как утром с залива, а уже весенний, теплый.

4.

Барон Фитингоф не обладал способностью быть недовольным собой и философий не любил. А уж если размышлять, да разбираться, так не он создан для этого мира, а мир для него.

Глупостей он не делал и не говорил, в этом он был уверен. Нельзя же, в конце концов, считать глупостью разговор с полковником Полетика о Лермонтове. Он тогда не знал и не мог знать некоторых обстоятельств. Во-первых, их императорские высочества великая княгиня Мария Николаевна и великая княгиня Ольга Николаевна выказывают личное неудовольствие этим зазнайкой Лермонтовым. Он имел нахальство крайне непочтительно вести себя по отношению к ним на новогоднем балу-маскераде, и при дворе сочувствовали не Лермонтову, а Баранту. Во-вторых, Лермонтов оказался человеком неблагонадежным и замеченным в свободомыслии, в-третьих, он оскорбил сына дипломата, представителя другой державы.

Фитингоф размышлял с удовольствием. Во всем четкость: в строю, в рассуждениях, — везде. Раз, два, три. Напра-во. Нале-во. Это не всякому дано. Логика-с. Сегодня он снова

вызвал к себе полковника Полетика. Надо разузнать последние данные по делу Лермонтова и дать понять, что он, генерал, правильно оценивает дело. Еще, чего доброго, эта божья коровка перевернет все, что говорил в прошлый раз.

— Ваше высокопревосходительство, имею честь доложить...

— Что за формальности, полковник. Садитесь. Наш разговор сегодня, так сказать, совершенно приватный.

— Понимаю-с. Дело Лермонтова?

— Ну уж и скажете, полковник. Стоит ли нам, верным слугам царя и отечества, особенно заниматься этим дрянным мальчишкой? А, впрочем, дело-то ведь его окончилось?

— Так точно. Генерал-аудиториат уже вынес определение.

— Пора, пора. И что же?

— Определенно, руководствуясь статьями 392 и 393 1-й книги военного уголовного устава, лишить поручика Лермонтова чинов и дворянского достоинства и записать в рядовые.

— Очень хорошо, очень. Помните, полковник, так точно я и говорил вам. Как это в русской пословице? Не каждый пророк в своем отечестве, не каждый.

Генерал запрокинул свою облысевшую голову на спинку кресла. Сейчас он был уверен, что именно такого приговора и ожидал.

Полетика улыбнулся.

— Как же помню. Ваше высокопревосходительство всегда отличались редкой проницательностью.

Эти слова можно было воспринять, и как насмешку, и как искреннюю похвалу. Генерал, конечно, предпочел последнее.

— Что же касается Лермонтова, — продолжал Полетика, — то государь на определение генерал-аудиториата соизволил резолюцию наложить: “Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином”.

Фитингоф кашлянул. Кажется, немножко пересолил. Неприятно. Но ничего особенного. Кстати, “пересолил” хорошее русское слово.

— Да, полковник, государь показал нам ещё раз бесконечность своего милосердия.

Полетика еле удерживал смех. Как человек военный и благовоспитанный, он не может смеяться над своим командиром. Сие уж с вольнодумством граничит. Но все-таки смешно, когда люди, ничего не понимающие в делах государственных, только потому, что они генералы, лезут туда же — в высокую политику. А все от того, что не понимают одной истины в жизни, главной — не рассуждай, стремись к покою.

Фитингоф недовольно кашлянул. За долгие годы службы он привык слушать или начальство, или самого себя, но больше, конечно, начальство. Поэтому часто не то что желания, мысли начальственные угадывал. Но зато никогда не задумывался над мыслями подчиненных. Сейчас он вдруг угадал мысли Полетика, и от этого сразу стало не по себе. Он никак не мог найти, что сказать и поэтому закашлялся².

— Tausend Teufel! — выругался он, имея в виду полковника. Но получилось так, что это имело отношение к кашлю.

— Мудры распоряжения их императорского величества, — наконец оказал он, — и не нам судить о них, не нам. — Последние слова “не нам” он подчеркнул так, что они скорее звучали, как “не вам”. И все же оставалось непонятным, почему помилован Лермонтов.

²С нем. Тысяча чертей.

Полетика не удержался от улыбки. Надо, пожалуй, разъяснить генералу, в чем дело. Он спросил:

— Вам, конечно, известно, ваше высокопревосходительство, последние печальные сообщения с Кавказа?

— С Черноморской линии? Да, ох, уж эти мне горцы. Слышал, слышал — падение Лазаревского укрепления, теперь Михайловского. В плачевном состоянии линия. Но государь примет меры.

— Конечно. А ведь Тенгинский полк, как это, наверное, известно вашему высокопревосходительству, и занимает укрепления Черноморской линии.

Барон засмеялся радостно, от души. Теперь все понятно, все. Ах, как ловко!

— Ну, я же говорил: вот хорошо придумано, ну я же говорил: в пекло этого мальчишку, в пекло.

Последние слова он повторил, смакуя. Кто может теперь оспорить его высокое понимание политики и знание этого русского языка?!

Барон так обрадовался, словно это он сам придумал послать Лермонтова в тот полк и в те места, откуда могло быть всего два выхода: пуля или лихорадка.

— К тому же, — добавил Полетика, — их величество распорядиться соблаговолили исполнить резолюцию, касательно поручика Лермонтова немедленно.

Барон одобрительно закивал головой и задумался. Да, вот он уже и командир гвардейского полка, генерал, и повышения ждет, а все же сознаться должен, как говорит русская пословица: сто лет живи — сто лет учись. И, конечно, у их императорского величества. Великий государственный ум, гений. Ведь и милость оказана — не в крепость и не в рядовые, нет, только перевод и тем же

чином, а между тем — прямо под пулю, на смерть. Вот где Großpolitik.

Он улыбнулся полковнику, как равному. Ведь мы, так сказать, люди одного круга, избранные, которым только и дано понять всю мудрость распоряжений их величества.

Нет, теперь положительно нельзя не умиляться.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.

Отряд вышел из крепости Грозной 6-го июля 1840 года, на рассвете переправился через реку Сунжу; днем сжег деревню Большой Чечень с ее садами, вытоптал окрестные поля и к вечеру достиг деревни Дуду-Юрт.

На второй день отряд был обстрелян чеченцами из деревни Большой Атаг, на третий — они стреляли из завалов. Продвигаться стало труднее.

11 июля, оставив деревню Гехи, отряд предал ее пламени и вступил в глухой Гехинский лес. Днем подошли к реке Валерик.

Лермонтов следовал с отрядом. В полк он не поехал, упросил командующего войсками генерала Граббе направить его на левый фланг Кавказской линии в отряд генерала-лейтенанта Галафеева, направлявшийся в Чечню на разгром самого Шамиля. Жаждал ли сильных ощущений под меткими пулями чеченцев?

Может быть. Но сильных ощущений не было. К вечеру одолевала усталость, и он засыпал, как убитый, без слов и мыслей, на земле, укрытый шинелью, несмотря на тучи комаров, на жар и холод — жар от горящих деревень, холод от заснеженных горных вершин. Днем тоже не хватало времени для размышлений. Скакать то в авангард, то к арьергарду растянувшегося отряда с распоряжениями генерала, вовремя укрываться от пуль, находить кратчайший пути в лесах и горах — после этого не оставалось для раздумий. Одно желание владело — с ним ехал на Кавказ, с ним просился в отряд — добиться отставки. Еще в Петербурге намекнули — отличишься на Кавказе, можно будет разговаривать о ней. Теперь же отставка означала свободу. А разве на свете существует лучшее слово?!

“Валерик” в переводе на русский язык — река смерти. Лермонтову еще утром, до подхода к речке, сказал об этом один

кабардинец из отряда. Они дружили уже несколько дней, вместе скакали по лесу, Лермонтов выспрашивал у него местные поверья и предания.

Когда отряд остановился у реки, все вокруг дышало спокойствием. За рекой поднимался густой бор. Лермонтов даже успел подумать:

“А эта тихая речушка не оправдывает своего грозного имени”.

Артиллерия открыла огонь по лесу. Ответа не последовало. Генерал отдал приказание двум батальонам переправиться через реку и вступить в лес. Весь отряд двинулся вперед, артиллерия снялась с места.

И вдруг взорвалась тишина. Залпы выстрелов со стороны леса, от реки. Пули начали косить людей. Войско рванулось быстрее к реке. Оттуда, с завалов раздался сильный огонь. Тут-то и началось.

Лермонтов поскакал от генерала к командирам полков и батальонов с приказами. Генерал был уверен, что он руководит сражением, хотя сражение уже началось и продолжалось, независимо от него и его приказов, и, в действительности, не он руководил сражением, а сражение руководило им. Егеря, еще до того, как генерал успел отдать приказание, бросились через реку вброд и вплавь, теряя каждого третьего или даже второго. Также, не дожидаясь генеральского приказа, который был отдан, когда уже всё сделали без него, офицер-подпоручик со своими солдатами и двумя конными орудиями перебрался через реку и картечью осыпал выбежавших из леса чеченцев. Началась рукопашная. Кинжалы, шашки, штыки, крики, ругань.

Огонь орудий стих, снаряды попадали в своих.

Лермонтов находился вблизи. Его никто не направлял сюда, но он решил, что его место в рукопашной. Одно мгновение мешал страх. Из страха, или из внезапной решимости побороть его, Лермонтов вдруг изо всех сил натянул поводья. Белый конь рванулся вперед и споткнулся у самой реки. Когда он перебрался на другой берег, уже было поздно. Чеченцы отступили в лес. Батальоны врассыпную шли за ними. Но боя не было. Отдельные выстрелы, шум, крики.

Лермонтов ехал теперь шагом. Снова опоздал. Но горечи не испытывал. Может быть, даже втайне радовался. А что если бы поспел к рукопашной? Убивал бы чеченцев? Вот также легко колот бы чеченца штыком? Ведь человека.

У чеченца тоже свои радости и страдания. И защищает он себя, свой дом. Пусть он неправ, пусть не понимает, что, в конце концов, историей предопределено быть этим местам под Россией, пусть он обманут Шамилем, турками и поэтому слеп в своей ненависти к неверным, но ему, чеченцу, легче ли от этого сейчас, когда все: и русские, и Шамиль, жгут его деревни, посева, труд!

Кто-то окликнул Лермонтова.

— Поручик, чеченцы на правом фланге напали на обоз, доложите генералу.

Лермонтов поскакал. Но пока он нашел генерала и затем добрался до командира батальона Мингрельского полка с приказом идти на помощь, натиск чеченцев был отбит. Они, медленно отстреливаясь, отходили в лес. Но Лермонтов с двумя казаками помчался преследовать их. И так силен был натиск эти трёх храбрецов, так безудержна их смелость,

что чеченцы дрогнули, побежали и скрылись, наконец, в лесу.

Бой затихал. Только теперь стало ясно, как много чеченцев, да и русских полегло за эти два часа. Речка окрасилась кровью. Вот тебе Валерик — и впрямь река смерти.

Лермонтов подъехал к группе саперов у берега. Спешился. Они стояли молча. Подошел, поздоровался. Ему не ответили, лишь потеснились и, как равного, пустили в свой круг. На земле лежало двое солдат. Один только что скончался, его накрыли шинелью. Другой, уже немолодой человек с яркими голубыми глазами на землистом лице, полулежал, облокотившись на правую руку. Он, наверное, кончил что-то рассказывать, так как Лермонтов услышал лишь последние слова:

— Вот так-то, братцы.

Саперы стояли сурово, неодобрительно поглядывая на Лермонтова. Он заметил — в груди солдата чернела рана;

— К фельдшеру понесем его, — предложил Лермонтов.

— Не надо, — ответил солдат, — не поможет...

Он еще раз посмотрел на Лермонтова и, решив, видимо, не обращать на него внимания, сказал:

— Да, братцы, я и говорю, значит, куда служба занесла нас. Кругом горы какие, леса, один Казбек, гляди, как седая шапка над всей землей. Да опять же поля здесь есть. Расти все может. А у нас, в Рассеи, земли не хватает, что ли? Может, только самая малость и засеяна. Значит, что? Всем людям на земле места хватит. Ан нет, все деремся. Да...

Саперы переминались с ноги на ногу.

— Чего болтаешь, Савельич?! “От бога так оно положено”, — сказал, наконец, рыжеусый рябой солдат. — Да и негоже болтать такое. Час твой пришел, Савельич, помолился б.

— Пришел, пришел, — разозлился Савельич. — Чего раскудахтался! Сам знаю, что пришел. Потому, может, и говорю так.

— Не отписать ли что кому? — спросил рябой.

Савельич задумался на мгновенье.

— А кому? — махнул головой — Некому.

— Может, зазноба? — не отставал рябой.

Савельич недовольно мотнул головой.

— У зазнобы другой сыщется. Никому не отписывать.

— Чего стали? — раздался голос командира, — марш переправу строить.

— Да вот Савельич помирает.

— Без вас помрет. Что угодно поручик?

— Ничего.

Лермонтов отошел. Медленно сел на своего коня, поехал шагом. Собственно, торопиться теперь некуда.

Всем на земле места хватит. Просто и мудро. Все мудрое просто. Неужели нельзя без войны, без проклятой людьми войны?! До чего глупо устроен свет. И у кого мысли об этом? у простого солдата-крестьянина, раба. Кто он? Народ. Вот кого и слушать надо, и слушаться. Если, конечно, поэтом народным намерен стать.

И вдруг, впервые за все эти дни, Лермонтов почувствовал, как стихи нахлынули на него. Он мгновенно преобразился. Глаз острее, зорче. Все, что видел вокруг, о чем думал только что, откладывалось в стихи, рифмы рождались быстро, строчки шли за строчками.

Молчать больше невозможно. И он стал читать вслух — деревьям, горам, шумящей реке, всему Кавказу, земле всей:

И с грустью тайной и сердечной

Я думал: жалкий человек...

Чего он хочет? Небо ясно

*Под небом места много всем —
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он. Зачем?
Зачем?*

2.

— Зачем вы так хвалите Лермонтова?

— Да это же великий поэт!

— Несколько удачных стихов еще не делают человека великим.

— А вы “Мцыри” прочли?

— Да, сильный стих.

— Мало сказать сильный — булатный меч! А кто, едва взявшись за него, вертит им, как тростинкой, — тот богатырь.

— А не оттого ли вы так хвалите Лермонтова, что он печатается в “Отечественных записках”?

— Видите ли, сударь, если бы даже его стихи печатались в болгаринской “Пчеле” между новостями о присутствии королевы Виктории на балу в новом платье и

сообщениями о приезжающих из Парижа портных, то и тогда я хвалил бы их ни на йоту меньше.

Белинский только сейчас понял, что исчезла неловкость. Для этого надо было затронуть убеждения. На этом вечере он чужой. Почти никого не знает, даже своего собеседника видит впервые. Но сейчас все нипочем. Еще подумают, что он слишком много выпил шампанского? Чепуха, смелее. Пусть и здесь, в этом столпотворении вавилонском, хоть раз услышат голос правды.

Вечер уже длился долго. Тосты за тостами. Теперь пили за хозяина дома — Владимира Федоровича Одоевского, за литераторов русских, за музыкантов, за здоровье Жуковского, Гоголя, Глинки.

Белинский поднялся.

— Господа, разрешите и мне поднять тост.

— Кто это?

— Тише, это Белинский — критик из “Отечественных записок”.

— Которого Краевский вывез из Москвы? Не могу понять, зачем князь приглашает таких. Ведь он же разночинец, сын дьякона.

— Нет, лекаря.

— Все равно хам. Неприлично.

— Знаете, только наклонитесь поближе, говорят, он никогда не бывает трезвым. Краевский каждый понедельник ездит за ним на съезжую.

— Да он и сейчас пьян.

Белинский не слышал ничего.

— Так разрешите.

Наконец, установилась тишина.

— Вы все, конечно, помните, господа, — начал Белинский, — что злая богиня Гера из зависти подбросила двух змей к колыбели младенца Геракла. Но он задушил их своими руками. Много змей зависти пытаются сейчас

отравить молодого поэта, взошедшего на небосклоне поэзии русской, но он каждым новым стихом своим душит их. Разрешите поднять бокал за здоровье и успех в наступающем году юного Геркулеса поэзии русской – Михаила Юрьевича Лермонтова.

— Браво, Белинский, браво!

Князь Одоевский подошел к Белинскому, они чокнулись бокалами с шампанским и обнялись.

— За Лермонтова, за его поэзию и жизнь.

— Да, за то, чтобы жил и писал. За Лермонтова!

Белинский под утро ушел с новогоднего вечера у князя Одоевского. Как всегда, после вечеров у Одоевского странный осадок. Народу множество и самого разнообразного, от студентов до посланников и министров — питерский слоеный пирог. Чувствовал себя, по обыкновению, одиноко, хотя и приходил сюда

регулярно, большей частью из любопытства. Жалел ли он о том, что сегодня впервые заговорил у Одоевского во весь голос? Ведь о Лермонтове нужно было сказать еще больше и лучше. В нем третий русский поэт растет. Пушкин, Гоголь и вот он. Впрочем, он ли это, в самом деле, говорил на вечере о Лермонтове? Ушло каких-нибудь несколько часов, и теперь его внезапная речь казалась не реальностью уже, а далеким, но ярким видением. Мысли рвались, как тонкая нить.

Белинский поднял воротник пальто. Сегодня в новогоднюю ночь впервые ударил мороз. Кончилась зима со слякотью, незамерзающей Невой, мокрым снегом, инфлюэнцией. От мороза краснели щеки, пальцы коченели в перчатках. Но извозчика все равно не взял. Конечно, и денег мало — один полтинник, а жалованье через неделю. Но не в этом дело. Приятно идти пешком, слышать, как хрустит под ногами снег, видеть, как при

каждом выдохе клубятся облачка пара, тая тут же, на глазах. Думается и то легче. Мысли крепкие, сбитые, как мороз.

Лермонтов — поэт нашего жалкого поколения, которое даже о своем достоинстве забыло. Да о каком достоинстве может идти речь, если на Руси все благородное страждет, и только скоты блаженствуют?! И все же достоинство человеческой личности — главное. Достоинство же подразумевает свободу, и не в том ли задача, чтобы воспитывать это достоинство, бороться за него?!

Рассветало. Мороз крепчал, щипал за щеки, забирался под пальто, и все же Белинский чувствовал на душе не холод, а тепло. Тепло приносили мысли. Он знал: это лишь начало. Зерно истины найдено. А зерно в благодатной почве принесет обильный урожай!

Рассвело почти совсем. Белинский шел уже по Большому проспекту Васильевского острова. Еще два квартала, и он дома. У Андреевских рядов дорогу загородила толпа. Он подошел узнать, в чем дело.

Купцы, приказчики, приезжие мужики в лаптях тесным кольцом обступили юродивого Николашу. Он подпрыгивал на одной ноге и чихал.

Николашу знали все на Васильевском острове. Белинский тоже видел его несколько раз. Сын отданного в солдаты крепостного, Николаша, быть может, и родился убогим оттого, что беременная им мать билась, как безумная, на улице, когда мужа отдавали в рекруты. Ночевал Николаша в матросской богадельне и целыми днями бегал по линиям и проспектам Васильевского острова, летом и зимой в рваных штанах, засаленном лакейском сюртуке с золотыми галунами и в цветистом, как радуга, маскарадном колпаке. Купцы с

Андреевских рядов научили его грязным песням, заставляли их петь и кривляться, а сами хохотали, или дразнили его, словно собаку. У Белинского каждый раз, когда видел его, сжималось от боли сердце, а от гнева кулаки.

Дрожа на морозе, совершенно изможденный Николаша, как заведенный, подпрыгивал и чихал. Он должен был сто раз подпрыгнуть и чихнуть, за что купец с рыжей бородкой на оплывшем лице обещал ему копейку. Купец с упоением считал:

— Восемьдесят четыре, восемьдесят пять...

Вокруг хохотали.

Белинский врезался в толпу.

— Прекратите издевательство! Как вам не стыдно потешаться над горем ближнего, мучить больного человека на потеху себе, за копейку.

Растерянный Николаша спросил:

— А копеечку мне?

Белинский отдал ему единственный полтинник, повернулся, — толпа почтительно расступилась, — и быстро вышел.

Николаша поскакал на одной ноге, крича:

— А у меня полтина серебряная, а у меня полтина...

Купец пришел в себя.

— Разорался барин, а сам полтинники разбрасывает. Понятное дело, своими руками, как мы, — он сорвал перчатку и потряс пухлой рукой, — деньгу не наживал. Небось деревеньку имеет, да душ триста, так опосля и кричать можно.

— Ты бы лучше молчал, толстай, — закричал кто-то из толпы, — человека не знаешь, а хулишь. Правду сказал он — грех над убогим смеяться.

— Кто кричит? — грозно спросил купец,
— уважения хошь, а этого не хошь? — и
замахнулся кулаком.

Все рассмеялись. Приняв смех за
одобрение, он закричал:

— Бей его, сукина сына, братцы!

Но кричавший исчез. Толпа поглотила
его.

Белинский медленно шел домой, на
Малый проспект. Мысли прыгали, в уме
мелькали впечатления этой ночи: вечер у
Одоевского, Николаша, купец. Наконец, мысли
потекли спокойней, одни за другими, строго,
как цифры в формуле.

Забитым, униженным говорят:
“Смотрите, есть существа, еще более
несчастные, чем вы, так смейтесь же,
потешайтесь над ними”. Само общество
доводит людей до подлости, действительность
делает их животными, тогда как на свете нет

ничего ценнее человека. И любовь к нему — самое высокое чувство. Но настоящая любовь — это не мертвое довольство тем, что есть, а неукротимое стремление к лучшему. Значит, любовь к людям — это борьба за то, чтоб им стадо лучше, за свободу каждого человека — нищего горожанина, простого мужика, ибо что такое народ наш, как не мужик в первую очередь. Да, жизнь — “не пустая и глупая шутка”.

Зерно истины начинает давать всходы. Но как освободить человека? Какими путями? Половина истины — не истина. Больше смелости. Смелостью люди доходят до сознания новых истин, смелостью движется общество.

Мороз окончательно проник сквозь пальто, обжег щеки.

Белинский подошел к своему дому.

3.

Родина... О ней думы все чаще и напряженней. Можно не любить сестру, брата, можно даже отца не любить, но нельзя не любить Родины.

Родина все — земля, по которой ходишь, воздух, которым дышишь, язык, которого нет прекрасней, народ, в служении которому — жизнь.

Родина... Мысли о ней не оставляют ни на один день. И тогда во время сражения у реки Валерик, и потом, когда во главе самой отчаянной команды из казаков, татар, кабардинцев, — ее и называли везде “беззаветной”, — крушил завалы, появлялся в самых опасных местах, вступая в рукопашные схватки, мчался по чеченским деревням, как гроза, на белом коне в красной рубахе, или, когда сидел в лесу у костра и вместе со своими головорезами из одного котла хлебал солдатскую пищу, думы были о ней — о

родине. И сейчас здесь, в Ставрополе, мысли о том же.

Родина... Для нее ничего не жаль. В ней жизнь и счастье. И разве не для нее все, что пишешь?! Разве не ей отданы талант, силы, все, чем богат, чем жив?!

Эти мысли поднимали, и, хотя Лермонтов люто ненавидел всяческую приподнятость и ходули за их ложь, сейчас не ощущал никакой лжи, и потому от этих мыслей делалось на сердце чище и возвышенной.

Но все же чувствовал — чего-то не хватает его мыслям.

И чем больше Лермонтов размышлял, тем яснее видел, что в его, казалось бы, безупречных думах о родине, в которых, быть может, и в самом деле больше страстной любви, чем холодной логики, есть скрытый изъян.

Что значит — любить родину? Любить ее настоящее — плети помещиков, продажу людей, словно собак или домашний скот, шпицрутены, духоту неволи?! Любить ее прошлое, как об этом пишет Хомяков, — те же темень, рабство, грязь и невежество?!

Ни то, ни другое. Так что ж это тогда за любовь?!

Заколдованный круг мыслей. Но если раньше мог, не уйти в них, нет, это всегда было невозможно, но хоть ненадолго вырваться, выскочить из этого круга — все забросить, окунуться в балы, в карты, в какую-нибудь свежую интригу со светской дамой, сейчас и это было исключено, и не потому, что здесь, в Ставрополе, редки балы, и нет почти светских дам, просто не влекло уже к этому, да и все равно забвения в этом не нашел бы. Теперь, напротив, тянуло к письменному столу, к стихам, к работе, сосредоточенной и всепоглощающей. Не признак ли это зрелости?

Что ж, в двадцать шесть лет пора. Эх, уйти бы в отставку, жить в Питере или, на худой конец, в Москве, издавать свой журнал и так, чтобы не лизать подметки европейских сапог и не умиляться перед русскими лаптями. Перетянуть бы в этот журнал Белинского. И тогда держись литературная братия — все Булгарины и Полевые, Бурачки и Шевыревы.

Мечты, мечты... Хорошо, что еще мечтать не разучился. А пока сиди в Ставрополе, жди у моря погоды и читай старые журналы со стряпней этих борзописцев.

Лермонтов вот уже около месяца жил в Ставрополе, где размещался штаб командующего войсками Кавказской линии и Черномории, надеясь на отставку. В ней, как лучи в фокусе, собрались все стремления — свобода, творчество, журнал. Может быть, все-таки согласятся, тем более, что он представлен к награде за дело при реке Валерик — ордену св. Станислава 3-й степени. Не в ордене,

конечно, вопрос, хотя и представляли сперва к более высокому — св. Владимиру с бантом, а в том, что самый факт отличия дает основания для прощенья и отставки. В это хотел верить, даже заставлял себя верить, а все же не верил. Ведь не отпустят. В армии удобнее держать на цепи. Тогда, быть может, перевод в гвардию? Бабушка писала, что это более вероятно, да и генерал Галафеев ходатайствовал о том же в награду за бой под Шали, когда Лермонтов с горстью солдат набросился на отряд чеченцев и первым со своей командой прошел шалинский лес.

Но вестей из Питера не было. Ожидание томило, хотя Лермонтов и не давал себе скучать. Читал все, что попадало под руку. Выписал из Петербурга полного Шекспира на английском. Надо перечитать в подлиннике. Шекспир отвечал настроению. Сильные страсти, глубина, монументальность. И самого теперь тянуло к большему — эпопея, драма,

исторический роман. В который раз брался за "Демона". Больше недели, как перечитывал, черкал, исправлял, переписывал. Лишь невежды могут говорить, что поэзия — не труд. На собственной шкуре убедился, что это каторжный, безжалостный труд. Хотя бы сейчас — в седьмой раз переделал "Демона", как будто хорошо, и все же недоволен. Надо ясно подчеркнуть в поэме мысль о том, что в мире глупцов и лицемеров сама мечта о любви и счастье — безумие.

Любовь, счастье... всю жизнь любил Вареньку Лопухину и что же? У Вареньки муж, да еще старый, сорокапятiletний. И теперь не Лопухина она уже, а Бахметьева. Вспомнил день, когда узнал об ее замужестве. Сидел дома в Питере и играл в шахматы с родственником и другом Акимом Шан-Гиреем. Вдруг подают письмо, вскрыл, пробежал и сразу почувствовал, что голова кружится, в груди больно, по-настоящему физически больно,

будто сердце ножом надвое рассекают. Он выскочил из комнаты, спрятался в углу коридора и, зажав голову руками, впервые за все годы, что помнил себя, заплакал...

А Мари Щербатова? Да ведь и она рано или поздно изменит так же, как и Варенька, как все и всюду. Истинная любовь в этом царстве лжи невозможна. И об этом надо прямо сказать в поэме.

Но на этот раз стихи писались не по обыкновению быстро, одним дыханьем, а медленно, с большим трудом.

Он разорвал два листа со стихами — все не то, снова стал писать, перечитал — не понравилось, зачеркнул и начал сызнаова. Наконец, стихи вылились.

*И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои
И вновь остался он, надменный
Один, как прежде, во вселенной
Без упования и любви!..*

И хотя знал эти строки уже наизусть, прочел их ещё несколько раз и всё-таки остался недоволен.

4.

На следующее утро Лермонтова вызвали в штаб. По пути волновался, а вдруг и в самом деле отставка. Но эту мысль отогнал. Слишком уж хорошо. И все же, как не отгонял ее, она жила, не высказываемая самому себе, жила и заставляла сильно биться сердце.

Его принял старший адъютант командующего — любезный и почтительный молодой человек. Он, словно, был создан специально для того, чтобы сидеть в этом строгом, внушающем почтение кабинете, столь же тихого и почтенного штаба.

— Присаживайтесь, господин поручик, прошу. Мне очень приятно видеть вас, тем более, что я имел честь читать ваши стихи и наслаждаться ими.

Речь его текла гладко, словно тихий ручеек под сенью лип или каштанов.

— Я позволил себе пригласить вас с тем, чтобы сообщить о приятном известии, поступившем вчера от Военного министра из Санкт-Петербурга.

Лермонтов был внешне спокоен, но, если б только кто-нибудь мог заглянуть и подсмотреть, что творилось в его разгоряченной голове! Приятное известие. Неужели отставка? От-став-ка, от-став-ка... Это слово невольно пело, выстраивалось в чудесном марше победы...

— Военный министр изволил сообщить командующему войсками его высокопревосходительству генерал-адъютанту Граббе, что по указанию их императорского величества...

Боже, как он тянет... Лермонтов чувствовал, что с каждой секундой в нем растет ненависть к этому благовоспитанному, с

прилизанным пробором чиновнику вместе со всей его любезностью и почтительностью.

— Вследствие ходатайства вашей бабушки, госпожи Арсеньевой, — продолжал адъютант, — вам будет несомненно разрешен, — он задержался на мгновение, и Лермонтов почувствовал, как у него внутри все оборвалось, дальше можно уже не слушать, все ясно, если бы отставка — этот болван сказал бы: — “разрешена, вам будет разрешена”, а здесь... — Вам будет разрешен — повторил адъютант, — отпуск для свидания с вашей бабушкой в Петербург. Однако, предварительно испрашиваются сведения о вашей службе, поведении и образе жизни.

— Что же вы ответили? — безразлично спросил Лермонтов.

— Отвечено в том смысле, что служите вы исправно, жизнь ведете добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках по сие время не замечены.

Лермонтов рассмеялся.

— Благодарю вас, прекрасно.

Ведь чего горевать? Все равно в отставку не верил. А теперь хоть отпуск впереди, поездка, Питер. Нет, рано нос вешать.

— Благодарю, — повторил он еще раз, и этот адъютант показался уже не таким дрянным и нудным, как несколько минут назад.

Лермонтов медленно возвращался домой. Конечно, хорошо, что хоть в отпуск поедет. Увидит бабушку, намучилась из-за него, родная. Затем появится в салоне у Софи Карамзиной, все начнут просить новые стихи, и он прочтет... ну, “Завещание”, например, что ли. Станут хвалить хором, а потом обязательно найдется девица или розовощекий бонвиван в синем фраке с искрой, который спросит: “А почему ваши стихи, месье Лермонтов, так грустны?” Нет, все равно хорошо побывать в Питере. Увидеть Краевского, Жуковского, Одоевского, встретиться с Белинским!

Талантлив он. Какую замечательную статью написал о “Герое”. Не то, что Шевырев, для которого Печорин — призрак. Впрочем, сей муж никогда ничего не понимал и, наверное, не поймет ни в жизни, ни в литературе. Или же Бурачек. Ничтожество! От его брани в “Маяке” ощущение, как от встречи с пьяным на улице. И хорошо, что в ответ на все их глупости, написал здесь предисловие к “Герою”. Надоумила статья Белинского. Она же помогла разобраться в цели искусства. Поэзия — не пустая ирония, не насмешка над всем, что творится вокруг. Искусство — врач, который, если и не может лечить болезни, то хотя бы устанавливает их. Распознать правильно болезнь — это уже наполовину излечить ее.

5.

Вечером собрались на квартире у капитана генерального штаба барона Вревского. Играли в карты. Лермонтов злился, он проиграл четыреста рублей. Сели за стол.

Пили за его отъезд. Он же пил нехотя, все еще не оставляла досада за проигрыш. Но как только пришел с опозданием Пушкин, он начисто забыл о своей досаде. Лицо осветила улыбка.

— Пушкин, ко мне садитесь, сюда, сюда.

— Очень рад за вас, Мишель, слышал — разрешили отпуск.

— Да, да, не отставка, конечно. Ну да, бог с этим. Еду, послезавтра, еду.

— Завидую вам. По снегу в самый Петербург. Помните, как у Александра:

Бразды пушистые взрывая,

Летит кибитка удалая.

Лермонтов смотрел влюбленно на Левушку Пушкина.

Приятный, веселый малый. И ведь сам Пушкин для него просто Александр, Саша, Сашка. Конечно, Левушку любил больше всего за то, что он Пушкин, родной брат Александра Сергеевича, ближе которого и дороже нет и не

было никого из всех людей на земле. И не будет. Потому что, если говорить откровенно, Пушкин — самое любимое и святое — отец, учитель, друг.

И, как это уже бывало много раз прежде, Лермонтов принялся расспрашивать Левушку об его старшем брате. Ведь каждая подробность дорога, все, что касается детства и юности Пушкина, его жизни на Юге, в Михайловском, в Петербурге, его поездок сюда, на Кавказ. И не беда, что Левушка мало что может рассказать о мыслях своего брата, о том мире, что жил в нем. Зато он много знал о том, как Пушкин проявлял себя в свете... Детали, мелочи. Но разве не с их помощью опытный историк восстанавливает картину минувших времен? И вновь вставал перед глазами Пушкин. Сразу забывалась ежедневная накипь, что съедала дни и недели — свет с его обществом, армия с ее службой, друзья с вином и картами.

Лермонтов и Левушка Пушкин разговорились, и за столом им стало неудобно и тесно.

Лермонтов предложил:

— Пойдемте в соседнюю комнату; там никто не помешает.

Лермонтов поднялся первый. Еще у порога услышал шум. Распахнул двери и в первую секунду не мог понять, что случилось. В комнате бушевал старший адъютант командующего, тот самый почтительный и любезный штабс-капитан, что сегодня утром сообщил об отпуске.

Он громко отчитывал солдата, стоявшего спиной к Лермонтову.

— Не видишь, что ли, здесь господа офицеры. Много ты мнишь о себе, — кричал он, с особенным удовольствием называя солдата на “ты” и этим подчеркивая свое превосходство, — пора усвоить, — что ты не

офицер, а солдат, не господин, а рядовой, ничто. Понятно?

Адъютант наступал на солдата и гнал его к двери.

Лермонтов вдруг вскрикнул.

— Назимов, Миша, друг, — и бросился к солдату.

Адъютант не посторонился. Его зеленоватые глаза сузились, и непонятно было чего в них больше — страха или радости, страха от гнева Лермонтова или радости от того, что он раскрыл себя. Разжалованный в солдаты декабрист, враг государев Назимов, ему, видите ли, друг.

Лермонтов обернулся к адъютанту.

— И не стыдно вам, господин штабс-капитан. Надо бы сказать, кто вы такой, да слов русских жалко, вы даже последнего из них недостойны.

Это явный вызов. И черт с ним, с отпуском, с Питером, со всем. Невозможно же

отказать себе в удовольствии отчитать такого мерзавца.

Но адъютант испугался, съежился и промолчал.

Лермонтов схватил Назимова за руку.

— Пойдем ко мне, Миша. А Вы, Лев Сергеевич, с нами? Прошу.

— Нет, я должен остаться.

6.

Дома топилась печь. Иван сидел рядом на полу и читал книгу, с усилием, разбирая слово за словом. Лермонтов незаметно подкрался сзади. Слуга читал “Руслана и Людмилу”. Лермонтов подмигнул Назимову: “Мол, видишь, кого читает — Пушкина”, и кашлянул. Иван вскочил.

— Ничего, ничего. Книга нравится?

Иван кивнул головой.

— Ну, так бери ее с собой и читай.

Слуга радостный вышел из комнаты. Лермонтов подбросил дрова в печку, дверцы не

закрыл и потушил свечу. Комнату освещал теперь лишь неровный огонь, бившийся в печи, дрова потрескивали, пламя обдавало жаром, и сразу в этой полупустой и неприглядной комнате стало уютно и хорошо.

Долго сидели молча.

— Отпуск получил. В Питер еду.

— Надолго?

— На месяц.

— Потом снова сюда?

— Да.

— Плохо.

— Что же плохого? Ты бы, небось, радовался?

— А я себе не позволял такой роскоши, как несбыточные мечтанья.

— Ну а на моем месте все-таки радовался б?

— Чего радоваться? Вернешься, а здесь один исход — смерть.

— Брось, Михаил. Ведь ты же солдат и жив. А я к тому же офицер, меньше шансов.

— Шансы одинаковые. А я пока жив, только пока.

— Перестань.

— Хорошо, молчу. Ведь я из последних.

— Не понимаю.

— Наши уже почти все убиты здесь — Саша Одоевский, Бестужев, Корнилович, Лихарев. Ты, говорят, был с ним в последний день?

— Был.

Лермонтов закрыл глаза. Есть такие воспоминания, от которых даже здесь, у горячей печки, холодно. Это было недавно, в одном из последних дел у той же реки Валерик. Вот уж не зря назвали рекой смерти. Сражение шло к концу, чеченцы бежали, и в одно мгновение растворились в лесу. Наступила тишина. Они шли вдвоем с Лихаревым об руку. Молодечество это иль привычка, но пулям не

кланялись и разговаривали о самом мирном — живописи. Вспоминали картины — рембрандтовских стариков и старух, “Данаю”, пастушек и капризниц Ватто, картины Рубенса, и в том, что вспоминали такое прекрасное и далекое здесь, в этом опаснейшем из мест, когда еще не окончился бой, и даже спорили друг с другом, кто лучше Рембрандт или Рубенс, — в этом всем была своя особая неповторимая прелесть и новое утверждение своего "я", среди той мерзости, что зовется военной экспедицией. И вдруг, когда в пылу спора, они остановились на мгновение, Лихарев упал навзничь, лицом в землю. Лермонтов наклонился, пуля сразила друга насмерть. Лермонтов привстал, вторая пуля пролетела у самого виска. Он побежал. Когда же вернулся на это место вместе с солдатами, было поздно. Горцы изрубили труп Лихарева и разбросали его части по лесу.

Лермонтов старался никому не рассказывать об этом, слишком тяжело, но Назимову рассказал все подробно.

Назимов долго молчал после того, как рассказ был окончен. Лицо его застыло и, освещенное красноватым отблеском пламени, казалось вылепленным из воска.

— Что же, четвертовали Лихарева, как это мечтал сделать со всеми нами наш общий друг — самодержец всероссийский.

Прошло еще несколько минут в молчании.

— Ну-с, а что написал нового, Мишель?

Лермонтов вздрогнул.

— Да разве теперь до моих писаний?

Как и тогда, после гибели Лихарева, он себя чувствовал, словно в цепях. И цепи эти — мысли о тщете жизни. Как же жить и зачем, если смерть за тобой везде по пятам скачет?! Страсти, мысли, поэзия, целая буря жизни и

вдруг — ничто, пустота, небытие.
Противоестественно и страшно.

Но Назимов не давал думать об этом.

— Нет, брат, твои писания нужны, как воздух. Да, да, как воздух.

— Чепуха.

— И это говоришь ты, поэт? А, знаешь ли, что меня от сумасшествия спасли стихи “Послание в Сибирь” Пушкина? Они чудом дошли ко мне на край земли в Средне-Колымск, где я сидел тогда под арестом в юрте. Да разве они воскресили меня одного?!

Лермонтов подбросил дрова в огонь.
Опять Пушкин прав: цель искусства — глаголом жечь сердца людей.

Назимов продолжал:

— А не будь у меня веры в правду этих стихов, в освобождение, и жить не стоило б? Вот ты, Мишель, принадлежишь к новому поколению, у вас нет нашего восторга, веры, самозабвения, но кому все же, как не вам,

подхватить наше знамя, кому, как не тебе — наследнику, духовному сыну Пушкина, звать вперед.

Наследник, сын... Что за слова! А написать бы повесть о таких людях, как Саша Одоевский, Володя Лихарев, Назимов, о других декабристах — этих богатырях, кованных из чистой стали с головы до ног! Нет, лучше роман, большой исторический роман.

Лермонтов почувствовал – силы растут от нахлынувших мыслей. Звать вперед. Как пророк, как пушкинский пророк. Забросят камнями? Все равно, иди. Будут смеяться? Неважно, иди... И он увидел совершенно четко, словно не сидел в полутемной комнате, у печи, в Ставрополе, а был где-то там, в далекой пустыне или шумном городе, видел, как идет по выжженному песку пророк, как входит в город, осыпaeмый насмешками и бранью, как в него летят камни, а он все идет и идет с гордо

поднятой головой провозглашать любви и правды чистые ученья.

Это второе зренье. И чем оно зорче, тем талантливей писатель. Лермонтов твердо знал теперь: он напишет стихи о пророке — продолжение пушкинских.

Назимов сердился. Ведь говорил сейчас так, словно душу выворачивал, а ответа нет.

Лермонтов улыбнулся, внезапно вскочил, подбежал к нему, схватил, смеясь, в объятия и закружил по комнате.

— Ах, Мишка, черт, хорошая все-таки вещь жизнь, правда? Жить и творить? Да!

7.

Снег, снег. По обеим сторонам дороги бесконечные покрывала снега. Ни деревца, ни избушки, холмы, овраги да степная гладь. Мчится кибитка, колокольчики звенят в морозном воздухе, снег клубится за полозьями, и весь мир лишь необозримый простор, да бегущая вдаль тройка.

Пробилось сквозь облака солнце, разогнало их в разные стороны, залило ярким светом белую пустыню и мгновенно все преобразилось: безжизненный снег заиграл, заблестел, словно поле, усеянное хрусталиками, и теперь кибитка неслась не по пустынной степи, а сквозь сказочные россыпи хрусталя и бриллиантов.

Просторы, какие просторы у нас! Что за ширь! Эти степи, Волга, леса. А Сибирь? Лихарев еще рассказывал: ссыльным декабристам давали там по 15 десятин земли. И Нарышкин вблизи Кургана собирал такие урожаи пшеницы, ячменя, картофеля, гороха, что все только диву давались. А Владимир Раевский выращивал возле Иркутска арбузы, Бестужев — огурцы и дыни. Да на нашей земле десять России прокормить можно!

Но вот сегодня ночевал в маленькой деревушке. Изба холодная, воздух спертый. Когда проснулся, увидел — хозяйка мешает

масло, трое ребятишек столпились вокруг, глазенки горят, и любопытно, и теплится надежда полакомиться куском хлеба с маслом. Наконец, сметана в горшке начинает свертываться, показываются комья, и ребятишки орут:

— Мамка, мамка, масло уже, масло.

Масло готово. Глазенки жадно поедают его, тянутся руки, старший достал краюху хлеба, нож и взглядом умоляет только самую малость соскрести на хлеб. Но мать сурово заворачивает сбитый овалом ком масла в тряпицу.

— Нельзя, ребятоньки, нельзя. Папаня завтра в город едет, продаст, не то соли купить не на что.

— Мамка, немножко, помазать только.

Глаза у матери влажнеют, еще минута и разрешит. Но, нет, нельзя остаться без соли, да еще оброк не отдан. Ее певучий голос почти плачет:

— Не могу, ребятоньки, нельзя, голуби
вы мои.

Вот тебе и богатая страна...

Облака снова сгустились, закрыли
солнце, и вместо алмазных россыпей
потянулись опять одетые в белый саван поля.

Вторую неделю мчится Лермонтов в
кибитке из Ставрополя в Петербург. И только
три занятия у него — сон, чтение и мысли.
Читает, что есть под рукой, думает тоже о
разном. Но одна мысль, как верный спутник,
следует повсюду! Россия, родина — огромная,
богатая и нищая. Эти бескрайние поля,
сметливые и работающие мужики, песни,
широкие и удалые, как самый народ — все
дорого и любимо. Опять попались стихи
Хомякова об отчизне. Нехорошо, фальшиво. По
Хомякову, будущее в возврате старины, в
покое, в том, чтобы отгородиться от мира.
Чушь, бестолочь и чушь. И прав не Хомяков, а
Белинский. Как он замечательно написал, что

Россия через сто лет будет стоять во главе образованного мира, давать законы науке и искусству и принимать благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества.

В этом истина — России принадлежит будущее. На душе стало спокойнее. А вместе со спокойствием рождалось ощущение силы. Уже не мальчишка он, не поручик, балующийся стихами, не юнец, а муж, которому суждено нести вериги поэзии русской. Быть может, у него слабые плечи? Слишком щуплые? Неправда, все выдержит, все, а выдержать придется много.

Дорога ворвалась в лес, и понеслись по ее сторонам мохнатые богатыри. Седые, в снегу деревья, словно огромное войско перед битвой, стояли один к одному, шеренга к шеренге, отряд за отрядом. А двинься-ка это войско, да шагни по матушке земле...

Лермонтов схватил саквояж, открыл его, достал записную книжку, карандаш, которым рисовал на Кавказе, и быстро начал писать:

“У России нет прошедшего, она вся в настоящем и будущем. Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем двадцать лет, но на двадцать первом году проснулся от тяжелого сна и пошел... и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия”.

А дорога все бежала по лесу, и снежные лесные богатыри по обеим сторонам нерушимо охраняли ее.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1.

Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой.

Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,

Ни темной старины заветные преданья

Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам? —

Ее степей холодное молчанье,

Ее лесов безбрежных колыханье,

Разливы рек её, подобные морям.

— Ну и стихи, аллах-керим, что за стихи!

Пушкинские, настоящие пушкинские.

Белинский еще раз взял со стола листок со стихами.

— И, подумать только, этакой талант Шевырев называет несамостоятельным. Вы прочли его статью о Лермонтове в “Московитянин”?

Краевский молча отобрал листок со стихами, спрятал его в ящик письменного стола, запер ящик, положил ключи в карман жилета и лишь затем ответил:

— Да, прочел. Статья не из умных.

— Мягко сказано. Извольте ли видеть, Лермонтов-подражатель. И еще бы хорошо Пушкина, а то всех, кого угодно, даже Бенедиктова. Лишь педант и невежа мог придумать такую нелепицу.

Краевский нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Выстукивалась ария Эдгара из оперы Доницетти “Лючия ди Ламермур”. С тех пор как в этой опере выступил Рубини, арию пел весь Петербург. Красивая мелодия. А если еще знать при этом, что Рубини за один только концерт собрал 42 тысячи рублей, и не ассигнациями — золотом, можно совсем уверовать в силу музыки.

Самые разнообразные мысли имеют способность удивительно ловко сплетаться. Так и сейчас сплелись мысли о Лермонтове и о больших деньгах.

Краевский неожиданно заметил:

— Хорошо бы в каждом номере “Отечественных записок” помещать новые стихи Лермонтова. Тогда три тысячи подписчиков обеспечены.

— И это значит, по меньшей мере, впятеро больше читателей.

— А капиталы, — не удержался Краевский, — какие капиталы. — Приятное звучание у этого слова, — подумал он. Но тут же спохватился. — Впрочем, не ради них тружусь.

Краевский сделал длительную паузу в надежде, что Белинский подтвердит его слова. Но подтверждения не дождался и многозначительно протянул:

— Увы, от Лермонтова скоро стихов не будет. Закружился, балы, кажется, опять роман.

— Вы слышали о его дебюте?

— Нет.

— Ну как же, мальчик приехал в Питер, заметьте, единственно для свидания с бабушкой, и в первый же вечер — на великосветский бал к графине Воронцовой-Дашковой.

Представляете, наивысшее общество, сам великий князь Михаил Павлович и вдруг в первой паре с хозяйкой в армейском мундире опальный поручик Лермонтов. Переполох. Великий князь подходит, чтобы сделать выговор, а Лермонтов, словно не замечая его, уносится в вальсе. Каков!

Белинский рассмеялся.

— Мне это даже нравится,

— Нравится? А его хотели на следующий день выслать из Петербурга обратно на Кавказ.

— Простите, Андрей Александрович, я совершеннейший профан в делах высшего света и, может быть, поэтому не понимаю, почему Лермонтов не вправе был явиться на бал, если он здесь в отпуске.

— А потому, что крайней дерзостью и неприличием считается появление офицера, отбывающего наказание, на балу, где изволят присутствовать члены императорской фамилии.

— Ах, вот в чем дело. Как хорошо, что я родился плебеем и к светскому обществу отношения не имею. Но как же с Лермонтовым?

— Воронцова-Дашкова чуть ли не на коленях умоляла великого князя об его прощении. Осаждали и другие дамы — Смирнова, графиня Ростопчина. А перед женскими чарами Михаилу Павловичу не устоять.

— А теперь Лермонтов успокоился?
Пишет?

— Какое там? Все еще бесится. На днях потащился в дворянское собрание на маскарад. Напялил домино, маску и был таков. Хорошо, никто не узнал его.

— Он еще долго пробудет в Питере?

— Если не вышлют раньше — недели две. Между прочим, он интересовался вами.

— Ну да?

— Серьезно. Говорил, что хочет видеть вас.

Суровое лицо Белинского неожиданно стало растерянным и радостным.

— Он в четверг собирается к Одоевскому, узнавал, будете ли вы там?

— Непременно буду.

2.

Если не в каждом человеке, то, во всяком случае, во многих одновременно живут двое или даже несколько людей. Вот и в нем точно

так же — один весь поглощен мыслями об общем: искусстве, родине, мире, для него самое дорогое — поэзия, самое желанное — свобода и благо отчизны; другой же радуется карточному выигрышу, острому словцу, поглощен интригой с замужней дамой и для него самое дорогое — веселье разнообразности, а самое заветное — удовлетворенное тщеславие.

Но все-таки, сколько бы ни жило разных людей в человеке, есть среди них один главный. И очень часто этот истинный, скромный, даже стыдливый в своей скромности, скрывается от окружающих под маской другого.

И здесь, в Петербурге, Лермонтов много писал, и много думал, и подлинной его жизнью была жизнь внутренняя. Но на людях он старался скрыть эту жизнь и выставить наружу другую — светского волокиты и острослова.

Сегодня все утро писал стихи. Не писать их не мог. Они только и принесли покой. Накануне вечером был в гостях у графа Соллогуба. Случайно остался вдвоем с его женой графиней Софьей Михайловной. Смотрел на нее и не мог оторвать глаз. Варенька, вылитая Варенька.

Снова защемило сердце. Сколько раз увлекался и ведь теперь тоже горел новым увлечением — графиня Евдокия Петровна Ростопчина, редкое сочетание простоты и ума, обаяния и таланта, пишет стихи по-русски, по-французски. А вот только почудилась в Софье Михайловне Варенька, и все увлечения забыты. Что ж, видимо, любовь-то у него была и есть в жизни одна — неудачная, но настоящая.

Плохо спал ночь, снилась Варенька. Утром она по-прежнему не выходила из головы. Легче стало лишь, когда написал стихи. Они подводили черту. С ними вместе отрезал от себя что-то очень личное, свое.

*Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.*

Когда вечером приехал к князю Одоевскому, в будуаре княгини нашел Софью Михайловну и вручил ей новые стихи. Не дожидаясь, пока она прочтет их, распрощался и поднялся наверх в кабинет князя.

3.

Зал, называвшийся кабинетом Владимира Федоровича Одоевского, находился в плену у вещей. Огромный, как черная, отполированная морем скала, рояль и этажерка с кипами нот выдавали в хозяине музыканта, столы с колбами и ретортами — химика, шкафы с полчищами книг, толстые старинные фолианты на стульях, стопка очищенных перьев на столе — писателя и философа.

Сегодня в кабинете собралось, как, впрочем, и всегда по четвергам, интересное общество. Краевский, Белинский, цензор

профессор Никитенко, Иван Иванович Панаев, граф Соллогуб, отец Иакинф Бичурин. Сперва говорили о пустяках. Соллогуб рассказывал о салоне покойной Елизаветы Михайловны Хитрово — дочери Кутузова:

— Она просыпалась обыкновенно поздно и принимала гостей в спальне. Когда кто-нибудь входил, предупреждала — “Не садитесь на кресло — это место Пушкина, и не на диван это место Жуковского, не на этот стул, на нем всегда сидит Гоголь. *Asseyez vous sur mon lit, c'est la place de tout le monde*”³. Рассмеялись, и все по-разному. Довольный своим остроумием Соллогуб; сдержанно — Никитенко, повторяя про себя этот анекдот, чтобы завтра же не забыть рассказать его в другом месте; Панаев с чувством собственного достоинства; Краевский весело, но задыхаясь от кашля; Белинский; и громко, по-мужицки сочно Иакинф Бичурин.

³Садитесь ко мне на кровать. Это место для всех.

Он и завладел разговором. Толстый, в шелковой черной рясе с жидкой бородкой, глядящей в разные стороны, с прищуренными глазами, он был похож на китайца. Хотя, скорее всего, это сходство приходило на ум от того, что всем было известно, что он провел полжизни в Китае и посвятил себя изучению этой далекой и загадочной страны.

— Многие считают, — говорил он, — китайцы де, мол, люди, конечно, руки, ноги на месте, что-то лопочут на своем тарабарском языке, но все ж не такие, как мы или немцы, французы, одним словом, европейцы, а этак пониже сортом. А знали б вы только, господа, что за душевный человек обыкновенный китаец. Честен, трудолюбив, умница. А культура? Древних греков еще и в помине не было, когда китайцы знали уже письменность.

— Но это все в прошлом, — перебил Краевский. — Ныне же ваш Китай — безнадежно отсталая, последняя страна.

— Последняя?! — от гнева у отца Иокинфа поползли красные пятна по щекам. — Нет, милостивый государь, ошибаетесь, отсталая — да, но не последняя. Да как же не оказаться отсталой, ежели на века стеной отгородилась.

— Вот, вот, — подхватил Белинский, с такой горячностью, словно он только и ждал случая вмешаться, — и если б у нас, в России Петр не разрушил подобной стены, и нас ждала бы участь Китая. Ведь англичане уже напали на китайцев, а это, наверное, лишь начало. Как бы Китай не повторил судьбу Индии.

— Не по зубам орешек.

— Возможно. Но при одном условии, — нельзя дольше жить в скорлупе. Деятнадцатый век — не шестнадцатый или семнадцатый. Есть народы, но есть и человечество. Не может быть реки без моря. А наши москвичи Шевырев, Хомяков, Костя Аксаков шумят — возвратимся к Руси допетровой, отвернемся от мира,

выстроим стену повыше китайской, будем ходить в лаптях да мурмолках, хлестать сивуху, спать на перинах да от скуки рвать бороды у мужиков.

— А вы злой, Виссарион Григорьевич, — удивленно заметил Одоевский.

— К противникам своих убеждений — всегда.

— Но продолжайте, пожалуйста, Виссарион Григорьевич, это очень интересно. Бичурин даже наклонился к Белинскому.

— Чего продолжать? Все сказано. Идти вперед вместе с другими народами, но и не забывая своей самобытности. И глубоко уверен — нас ждет великая будущность.

— Bravo! Правильно!

У рояля стоял Лермонтов. Никто не заметил, как он вошел.

— А не плохо бы, господа, поглядеть, что будет твориться на нашей земле через сотню, другую лет? Здравствуйте, Владимир

Федорович, здравствуйте, отец Иакинф, приветствую, Краевский.

Лермонтов здоровался со всеми по очереди за руку. Пожалуй, не изменился. Даже, как будто, помолодел, хотя лицо и усталое. Та же нетерпеливость и быстрота в движениях, тот же задорный блеск в черных глазах. Скромный офицерский сюртук Тенгинского пехотного полка с ярко-красными отворотами делал его небольшую фигуру еще подвижней и стройней.

— Рад видеть вас, Виссарион Григорьевич.

Лермонтов улыбнулся. Усталое лицо его засветилось.

4.

Сегодня, как и во все четверги, от Одоевского разошлись за полночь.

Лермонтов, показавшийся сначала таким оживленным и даже веселым, весь вечер просидел молча, угрюмый и грустный. Белинский, выходя от князя раньше всех, хотел

попрощаться с ним — зачем же надоедать? Но Лермонтов догнал его и предложил прогуляться вдвоем.

Пошли по Мошкову переулку, Миллионной и затем по Зимней канавке к Неве.

Ночь легла на город, фонарщик гасил уже масляные фонари на набережной, запоздалые прохожие торопливо исчезали с улиц, тучи закрывали луну, и лишь на Неве двумя красными точками мигал парусник в ожидании развода моста, да чернела, вспарывая небо, игла Петропавловского собора.

И на душе тоже темно и грустно. Белинскому хотелось говорить о многом, а молчал. Ведь Лермонтову и так плохо. Рассказать о своем возмущении ослиной статьей Шевырева о Лермонтовских стихах? Повторить все хорошее, что сказал о них в своей последней статье? Ни к чему. Добавить, что его поэзия — крик души всего поколения, и так страшен этот крик, потому что несется он с

плахи, куда бросил всех нас этот лицемер и палач на троне? Но нельзя же с этого начинать разговор. Белинский спросил коротко.

— Что пишете?

— Начал повесть об одном художнике. Романтика, фантастика и всяческий бред. — Лермонтов неожиданно прервал себя и спросил: — Последние слухи знаете?

— О чем?

— Говорят к свадьбе наследника волю крестьянам даруют?

— Что?

— Волю дадут.

— А свадьба, кажется, завтра.

— Вот завтра и узнаем в точности, — глаза Лермонтова смеялись, — верите?

— Чушь, болтовня. Разве от этих дождейся, — и Белинский протянул руку в сторону Зимнего дворца.

— Вы спрашиваете, что я написал! Так слушайте же, вот самое лучшее:

*Прощай немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.
Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих царей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышающих ушей?*

Белинский долго не мог опомниться и овладеть мыслями. “Немытая Россия, — стучало в мозгу, — страна рабов, страна господ”. Что может быть ярче истины, выраженной словами поэта, да еще такого поэта?! И если бы не набережная Невы, не часовые у дворца и не офицерская форма Лермонтова, схватил бы его в объятия и расцеловал. Хотелось сказать что-то очень большое и исключительное и вдруг увидел — нет слов, все, что ни скажет сейчас, будет мало, плохо, не то.

— Спасибо, — сказал он только, — спасибо, — изо всей силы пожал Лермонтову руку и вдруг добавил. — В отставку, прошу, умоляю, уходите в отставку.

— Мечты, мечты... Сегодня утром меня вызывали. Бенкендорф требует выезда из Петербурга в 48 часов на Кавказ, в полк.

— Но...

— Вынужден ехать. И знаете, что пожелайте мне?

— Скорейшего возвращения?

— О, нет, невозможного не прошу. Ранения.

— Как?

— Да, ранения, что ни говори, оно лучше смерти.

— Но почему смерти?

— Сие неизбежно. Впрочем, завтра узнаю точно. Я загадал, если не будет освобождения крестьян — убьют.

— Это же обречено на неуспех.

— И я обречен.

— Нет, вы должны, вы обязаны, слышите, вы обязаны жить для Россия, для...

Белинский задыхался. Боже, до чего же он косноязычен. Лермонтов усмехнулся.

— Разве они дадут?! — и тоже протянул руку к дворцу,

— Но все же очень прошу — берегите себя. Лермонтов пожал плечами и перевел разговор.

— А вам, небось, трудно?

— Конечно. Вот на днях исполосовали статью о Петре, а я чувствовал будто меня самого изрезали. Да что говорить! Революция, Михаил Юрьевич, единственное спасение человека от тирании. А человек — самое ценное и святое сокровище в мире. Его свобода и достоинство — цель и дума века нашего. И, если хотите, это и ваша идея. Она должна быть

вашей, ибо вы народный поэт. Высшей похвалы не ведаю.

Лермонтов слушал сосредоточенно. А ведь прав Белинский, конечно, прав. И сам бы я не смог бы столь хорошо и умно объяснить все это. И сейчас, впервые за долгие месяцы, Лермонтов вдруг почувствовал себя не одиноким. Есть теперь, наконец, на Руси люди, не тени, не Печорины — другие герои, другого нового времени. Этим известно, что делать, не пустоцветы — борцы.

И Лермонтов заговорил о том, чего никто не знал, что хранил, как тайну, о заветных планах своих.

— Роман написать мечтаю. Вернее, три романа из трех эпох. Первый — век Екатерины, Пугачевское восстание, завоевание Крыма; второй — двенадцатый год, смертельная битва двух наций. Действие в Петербурге, в Москве, Париже, Вене; Третий — декабристы, двадцать пятый год, затем Кавказ, Тифлис при Ермолове,

кровавая борьба с горцами, персидская война и гибель Грибоедова в Тегеране. Во всех трех романах одни герои — отцы и дети. Это, конечно, в самых общих чертах. Одобряете?

Белинский волновался, слушая. Превосходно, настоящая эпопея, русская современная “Илиада”. Но сказал только, как и Лермонтов когда-то в орденанс-гаузе:

— Дай бог.

Луна выплыла из-за туч, тускло осветила дворцы, заблестела золотистой дорожкой по Неве. И вдруг по ней, как первый лебедь в стае, прошла большая белая льдина, за ней другая, третья. По Неве двинулся ладожский лед. Задул холодный ветер, засвистел. Льдины шли теперь целой толпой к заливу, большие и малые. Теснясь, ломаясь, неотвратно шли вперед, на морской простор.

— На простор бы вам, Михаил Юрьевич.

Ветер завывал, гудел в ушах.

— На простор, говорю.

Сквозь вой ветра тихо, но явственно, слышался барабанный бой. Обдавая грязью, проскочил экипаж. Генерал Фитингоф по повелению императора торопился для личного наблюдения за экзекуцией. Он покосился — поздней ночью офицер и штатский у Невы. Подозрительно-с.

Лермонтов струсил с шинели комья грязи.

— А вы о просторе. Эх!

Заморосил дождь. Петропавловский шпиль впился в небо, раздвинув тучи. Льдины шли все гуще, и гуще и не было им конца.



ГЛАВА ПЯТАЯ

1.

Да, в нем жили одновременно два или, пожалуй, даже три человека.

Один — истинный — был одержим стихами. За каких-нибудь два с лишним месяца исписал новыми стихами почти целиком записную книжку, подаренную перед отъездом из Петербурга Владимиром Федоровичем Одоевским. Лермонтов не болел самомнением, наоборот, был слишком строг и придирчив к себе и все же сознавал — стихи достойны пушкинских. Они роились в нем, жгли, рвались наружу. Он порой даже удивлялся — источник казался неистощимым.

И вот этого, себя самого — стихотворца и мыслителя, — ревниво берег от окружающих другой человек, живший в нем, ибо знал — страшна боль от прикосновения к обнаженному нерву.

Этот другой, приехав в Пятигорск и добившись краткого отпуска для лечения, веселился напропалую; не моргнув глазом, проигрывал в карты деньги, танцевал, сорил эпиграммами, волочился за пятигорскими барышнями, бесил насмешками самовлюбленных глупцов вроде старого знакомого Мартынова и прочих господ из пятигорского общества так же похожего на петербургское, как карикатура на оригинал.

Жил в нем еще и третий человек — добрый, ласковый к друзьям, простой. Он сочинял смешные экспромты, шутил, как школьник, с криком набрасываясь за обедом на лакомые куски и стреляя изо рта вишневыми косточками в зажженную свечу.

Остатки мальчишества? Что ж, значит, не утрачена свежесть сил и чувств. Да и разве двадцать семь лет уже не юность? Но мальчишкой бывал все же лишь мгновениями. Если от врагов его истинного скрывал тот

дерзкий насмешник, которого так ненавидела знать, от друзей скрывал этот третий — мальчишка.

Но сколько ни скрывал — уберечь не смог. Мартынов, избитый насмешками, вызвал его на дуэль. Конечно, произошло это не сразу и неспроста. С первого же дня приезда в Пятигорск Лермонтов почувствовал настороженное и неприязненное отношение к себе. Для него не оставалось тайной, что подполковник жандармского корпуса Кувшинников был послан Бенкендорфом сюда со специальной целью слежки за ним. Знал, что Кувшинников без дела не сидит, и уже подговаривал одного офицера Лисаневича вызвать его, Лермонтова, на дуэль.

А когда это не удалось, взялись за Мартынова. Недаром на днях приезжал из Ставрополя такой известный еще по расправе с декабристами подлец как начальник штаба командующего, полковник Траскин. Ну а столь

опытным людям пустяки — разжечь Мартышку, тем более что он в отставке, считает себя обиженным и, как все недалекие люди, мнящие себя умниками, болезненно самолюбив.

И все же Лермонтов думал, что, если дуэль и состоится, закончится она стрельбой в небо. Ведь учились с Мартышкой вместе в юнкерском училище. Не может же он решиться на убийство. А дуэль стараются устроить для того, чтобы так или иначе разделаться с ним — в солдаты разжаловать, погнать в экспедицию куда-нибудь в самое опасное место, например, против убыхов ⁴. Оттуда живыми не возвращаются. Кстати, ходят слухи, что как раз туда и направят его Тенгинский полк.

Друзьям, знавшим о дуэли, была понятна ее нелепость. Секунданты Глебов, Столыпин старались расстроить дуэль.

⁴Убыхи — кавказкий народ, ушедший в историю.

Они несколько раз ходили к Мартынову, умоляя его взять обратно вызов.

Не помогло. Добились с трудом лишь отсрочки на три дня. Но и за эти дни не смогли победить упрямства Мартынова. Было ясно — причина упрямства не в твердости Мартышкиного характера, а в стараниях Кувшинникова.

Дуэль назначили на 15 июля 1841 года, в семь часов вечера.

В этот день Лермонтов с большой компанией поехал на прогулку в Железные воды, за четырнадцать верст. С ним рядом ехали верхом Пушкин и Бенкендорф. Еще подумал — что за сочетание! Один — гордость, другой — проклятие России... Но это были брат великого поэта — майор Левушка Пушкин и сын шефа жандармов — юнкер Бенкендорф.

В Железных водах Лермонтов шутил, веселился. На обратном пути ехал с Левушкой Пушкиным, читал ему последние стихи:

Выхожу один я на дорогу,

Сквозь туман кремнистый путь блестит.

Левушка восторгался, заучивал наизусть, просил еще стихов. Он не отвечал. В этих строчках его кровь. Прочел сейчас вслух и словно рана открылась. Что вся его жизнь? Гонения, тяжкий труд, горе, злоба властей — кремнистый путь.

Уж не жду от жизни ничего я

И не жаль мне прошлого ничуть.

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть.

Забыться и заснуть... Через несколько часов, быть может, так и случится, только заснет навеки. Ведь жить все равно не дадут. Тогда какая разница — сегодня или завтра. Не на дуэли, так в военной экспедиции. Не от руки знакомого, так от пули убыха или чеченца. Тучи смыкаются над его головой... Эх, рассечь бы их!

Тучи сдвигались над Пятигорском. К шести часам вечера духота стала нестерпимой. В горах темнело, словно перед солнечным затмением. Торопились. На склоне горы Машук, у тропинки, ведущей в колонию Каррас, сошли с лошадей. Впереди Мартынов и Васильчиков, за ними Столыпин и князь Трубецкой, сзади Лермонтов и Глебов.

Туча из-за Бештау закрыла небо. Полумрак. Гроза неминуема.

Глебов заметил:

— Не понимаю, куда смотрит начальство?! Ведь знают о дуэли, а никто не мешает.

— Может быть, начальству — то эта дуэль, как пластырь на рану, — Лермонтов усмехнулся, — вот она кончится, и укрыться б в деревню... Он заставил себя думать о жизни и, чтобы еще больше утвердить веру в нее, заговорил о будущем.

— Роман сяду писать о Пугачевском восстании, о декабристах, о Кавказе, одним словом, о свободе, о борьбе за грядущую свободу.

Столыпин остановился.

— Здесь, господа, предлагаю еще раз мир.

Лермонтов ответил:

— Как я уже говорил, — стрелять не буду.

— Так, может быть, вы извинитесь? — спросил Васильчиков.

— Перед ним? За что?

Мартынов молчал.

Васильчиков и Глебов отмерили тридцать шагов, барьеры установили на десяти, положив на траву фуражки. Зарядили пистолеты. Глебов подал Мартынову, Васильчиков — Лермонтову. Затем развели их: Лермонтова поставили на верхнем, неудобном краю

поляны; Мартынова — на нижнем, более удобном.

Васильчиков скомандовал:

— Сходись.

Лермонтов заслонился по всем правилам дуэли рукой и локтем, но с места не тронулся, лишь взвел курок и поднял пистолет в воздух.

В горах грохотало, ливень хлестал где-то рядом.

Мартынов медленно поднимал пистолет. Мысли скакали. Варенька — такая красивая, в белом платье, полевые цветы в волосах. Стихи о пророке он все-таки успел написать...

Мартынов быстрыми шагами подходил к барьеру с наведенным пистолетом. Неужели?! Как похоже сейчас звериное лицо Мартынова на этого Кувшинникова. Это он... он... Жандарм...

Гром, Выстрел. Гроза.

Лермонтов упал навзничь.

Гром гремел над Машуком, над Бештау, неся по горам. Молния на мгновение осветила зловещим светом поляну — на коленях у Глебова голова умирающего поэта.

А гроза, набирая силы, все яростней бушевала над притихшей землей.

2.

Маневры гвардии, как и в прошлые годы, проводились в Красном Селе.

Николай Павлович с утра начал осмотр войск. На правом фланге стоял лейб-гвардии кавалергардский полк.

Николай Павлович шел медленно, заложив руки за спину, вдоль смешанных, прямых, как струна, рядов полка, и строго вглядывался в лица солдат. Застывшие каменные истуканы. Это радовало императора. Лицо солдата должно выражать лишь преданность и послушание. Впрочем, никакого своего лица солдату иметь не положено. Лица, как и форма, должны быть одинаковыми: узкий

лоб, бесцветные глаза, прямой нос и, в зависимости от чина, усы.

Николай Павлович вдруг остановился. Это еще что такое — безусый фельдфебель?! Окинул взглядом снизу вверх — два георгиевских креста на мундире, глаза карие, дерзкие.

— Где получил?

— Под славными орлами вашего императорского величества.

Николай Павлович недовольно посмотрел еще раз фельдфебелю в глаза. Они смеялись.

— Дурак, — резко бросил он и двинулся дальше, ускорив шаг.

Настроение испорчено. Не намек ли в поведении и взгляде этого наглеца на то, что он лично нигде войсками не командовал? Этот намек чудился всюду. Николай Павлович считал себя в душе великим полководцем, которому, лишь только в силу стечения

обстоятельств, не довелось проявить своего полководческого гения. Во время войны с Наполеоном был слишком юн, войны с Персией и Турцией мелки для его гения. Так и получилось, что никогда боевыми действиями сам не руководил, если, конечно, не считать дня 14-го декабря. Воспоминания об этом дне, о своем страхе перед восставшими на Сенатской площади расстроили окончательно.

Теперь все не нравилось, в лейб-гусарском полку не линия, а зигзаги. Уланы разучились не то что скакать — сидеть, как следует, на конях. А еще гвардия!

Три раза начинался и отменялся учебный бой. Генералы тряслись от страха — кто не знает силы императорского гнева?! Офицеры ошалели от противоречивых приказаний, солдаты еле передвигали ноги от усталости.

А гнев императорский нарастал. Больше всех досталось кавалергардскому полку. С него началось, ему и быть в ответе. Разве это выучка?! Лентяи, бездельники.

— Командира полка.

Генерал Фитингоф стоял навытяжку, даже мускулы на лице не дрожали. Только бы выдержать гневный взгляд их величества, только бы выдержать.

— Не ожидал от вас, барон.

— Так точно-с, ваше императорское величество.

Николай Павлович вздохнул — до чего же глуп! Это немного успокоило. Как правило, глупость окружающих действовала успокоительно. На ее фоне выпуклей виден собственный ум. Но гнев не прошел.

— Завтра в 10 часов 15 минут ко мне, во дворец, с докладом о состоянии полка.

Николай Павлович отбыл с маневров.

Фитингоф не находил себе места. Ругался по-немецки, по-русски. Голова раскалывалась от мыслей. Может быть, заболеть?! И, в самом деле, ведь все болит. Нет, не годится. Что же придумать? Вызвал командира роты штабс-капитана Синюхова. Накричал: куда, мол, смотрите, — фельдфебели вольнодумствуют, усы бреют, взгляд наглый, отвечать их величеству не умеют, под арест фельдфебеля. Но от крика не полегчало.

Ночью заснуть не смог. Одолели думы. Но выхода так и не нашел.

Одевался долго, тщательно. Во дворец приехал за полчаса до назначенного срока и расстроился еще больше. Здесь царил напряженная тишина. Говорили шепотом, ходили на цыпочках. В кабинет никто не осмеливался войти. Сам его сиятельство граф Александр Христофорович Бенкендорф, прибыв на доклад, и, узнав о настроении его

величества, в кабинет зайти не решился и немедленно уехал из дворца. Даже фрейлина Варвара Аркадьевна Нелидова, мелькнув в приемной, к его величеству не зашла, а уж никто так свободно не позволял себе обращаться с императором, как она.

В приемной остался один Фитингоф. Маленькая стрелка настенных часов достигла цифры десять, большая — обогнула двенадцать. Еще немного, она остановится на трех, и придется открыть эти высокие, белые с золотом, двери и очутиться один на один с императором. Сердце прыгало в груди, заглушая неумолимый стук часов.

В приемную вошел дежурный офицер и протянул флигель-адъютанту пакет. Фитингоф подошел к столу. Оставалось еще пять минут. Флигель-адъютант вскрыл пакет.

— Рапорт пятигорского коменданта полковника Ильяшенкова: на дуэли пятнадцатого июля убит поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов.

— Неужели?! Покажите, пожалуйста.

Фитингоф выхватил из рук флигель-адъютанта рапорт, мгновенно пробежал его и радостно улыбнулся. Все-таки фортуна не забыла его, есть же Бог на свете, есть, посылая в последнюю минуту спасение.

Фитингоф решительно открыл высокие двери кабинета.

Стеклянные глаза императора медленно поднялись от стола.

— Генерал-майор барон Фитингоф прибыл согласно приказанию вашего императорского величества.

Странно, в глазах этого Фитингофа ни тревоги, ни страха.

— Не по форме докладываете, генерал.

Но словно не замечая этих слов, Фитингоф, захлебываясь, проговорил:

— Разрешите доложить, ваше императорское величество, — рапорт из Пятигорска. Поручик Лермонтов убит на дуэли. Вот-с, — и он протянул рапорт.

Гневные морщины исчезли со лба Николая Павловича.

— Наконец-то.

Он взял рапорт, внимательно прочел его и по мере того, как читал, все шире становилось улыбка.

— Что-ж... Собаке — собачья смерть.

Он медленно подкрутил усы. От бывшего гнева не осталось и следа, удивленно посмотрел на Фитингофа. Зачем звал его сюда? Ах, да, вчерашние маневры. Надо что-то сказать.

— Следует лучше учить свой полк, генерал, — заметил он.

— Буду стараться, ваше императорское величество.

— Можете идти. Да смотрите, чтобы у вас в полку без дуэлей... Я вообще-то дуэлей не люблю. Идите.

Он позвонил флигель-адъютанту и не громко, обрывисто, а спокойно, размеренно. Это значило — император в отличнейшем расположении духа.

Весь дворец вздохнул облегченно.

3.

Солнце пряталось за тучами, но парило невыносимо. Давно уже Петербург не знал такой жары. Она согнала с улиц и раззолоченные кареты с высокими козлами и откидной лестничкой, и дешевые калиберы — узкое бревно, на котором помещались верхом и пассажиры, и извозчик, и элегантные всадники,

и даже мороженщики с кадками на голове, оглашающие неистовыми криками улицы.

Белинский и Краевский, возвращаясь от цензора к себе в редакцию, решили пройтись по набережной.

— Изумляюсь и радуюсь, — говорил Белинский, — у нас на Руси семь лет — целый век. Все растет, как в сказке, не по дням, а по часам. Ведь еще семь лет назад писал, что у нас нет своей литературы, а теперь уверенно заявляю — есть. Гоголь, Лермонтов. Такими писателями может гордиться любая страна, Франция, Англия, любая.

— А ведь вы и тогда преувеличивали, говоря, что у нас еще нет литературы, — заметил Краевский.

— Не думаю.

— А что вы писали о Пушкине, забыли?

— Сознаюсь, чушь писал. Дураком был, слепцом, как хотите. Считать, что Пушкин умер, как поэт, когда создавался “Медный

всадник”, и только возникал замысел “Капитанской дочери” — все равно, что сказать, будто умер Лермонтов сейчас, когда каждый новый стих его — перл поэзии русской.

— Господа, как я рад встрече с вами.

По набережной катился сияющий растолстевший Булгарин. Он весь лоснился. Брюки в клетку, малиновый жилет — последняя парижская мода, тонкий серый сюртук, цилиндр в руке и красная, словно обваренная кипятком, лысина.

— Я положительно счастлив, господа, видеть вас в полном здравии и благополучии. Ах, как это важно сейчас.

Он улыбался глазами, ртом, всем лицом, даже фигурой. Ведь он обладатель новости, самой что ни на есть свежей, а первым сообщить новость, да еще нехорошую заклятым врагам своим — что может быть приятнее такого удовольствия?!

— Вы еще ничего не слышали, господа?

— О чем? — недовольно спросил Краевский.

— Ну как же, как же — пренеприятнейшее известие.

— В чем дело?

— Прибыло сообщение — поэт наш в Пятигорске...

— Но не томите же!

— Одним словом, так сказать, Лермонтов убит на дуэли.

— Что?! — Белинский сделал шаг вперед, словно намереваясь ударить Булгарина.
— Что? Не может этого быть, не верю.

— Печалюсь, подобно вам. Но, увы, сие чистейшая правда. Из самих наивернейших источников. Конечно, так сказать, большая потеря. Для всех нас и, в особенности, для меня. Третьего друга теряю, да-с. Грибоедов, Пушкин и вот наш дорогой и незабвенный Михаил Юрьевич.

Булгарин вынул большой фуляровый платок и поднес к глазам.

Белинский и Краевский оба настолько оторопели, что ничего не ответили.

— Не смею задерживать, имею честь, господу, имею честь.

Булгарин покатился дальше по набережной.

Белинский никак не мог прийти в себя. Ни мыслей, ни слов. У-бит, у-бит — стучало в мозгу. Не может быть. Лермонтов и убит. Ведь совсем недавно, будто только вчера, стояли вот здесь вдвоем, на этой набережной, и он читал:

*Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих царей.*

Не укрылся, догнали, пулей догнали, палачи! Мало им убийства Пушкина. И Лермонтова казнить! Ну а как же иначе? Гений. А для гения на Руси одно подходящее место — могила. Сам не хочешь — толкнут.

— Что ж это, Виссарион Григорьевич? Что ж это? — Краевский вытирал набежавшие слезы, — такого поэта потеряли, такой талант.

— Зря сокрушаетесь. Лермонтов, хоть и писал хорошо, но человек был безнравственный, — Белинский чувствовал как злость комом ползет и застревает в горле, — а посему хвала провидению, оно не любит беспокойных. Зато процветает шпион и иезуит, то бишь, наш друг Булгарин, а литература делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, как по матерному.

— Оставьте ваши остроты.

— А что же делать? С большим удовольствием надавал бы по физиономии всем: от царя до Булгарина. Впрочем, глупость. Есть спасение единственное — мать святая гильотина.

— Молчите, вы с ума сошли.

Но Белинский продолжал.

— Да, гильотина. Только она может спасти Русь... Но Лермонтова не вернет.

— Молчите же, умоляю. Ну хоть потише.

Белинский не слушал его. Ах, боже мой, как ему сейчас было всё безразлично. Подняв кулак, он громко прочел:

*И вы не смаете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.*

К ним подходил со стороны дворца молодой офицер. Краевский испугался. Ну вот и все кончено. С этим сумасшедшим ещё угодишь в тюрьму.

— Смотрите, что вы наделали, — шепнул он.

Белинский выпрямился. Что ж, заберут и ладно. За Лермонтова — не обидно и не страшно.

— Извините, господа, — офицер наклонился, — я все слышал.

У Краевского губы посинели от страха.

— Все... — повторил офицер, — и мне хочется пожать вам руку и сказать спасибо за Лермонтова, большое спасибо.

Он крепко пожал руку Белинскому, затем Краевскому и исчез так же внезапно, как и появился.

Белинский схватил Краевского за плечи.

— Вот видите, видите. Не знаем мы нашей России, не знаем. Не Булгарины — Русь, не они, — он указал пальцем в сторону дворца, — а вот этот офицер, Лермонтов, мужики, что бунтуют на Волыни, под Москвой, Тулой, Пензой, везде и всюду, народ, который жаждет свободы и света. И за это будем бороться мы вместе с Лермонтовым, поэтому вечно живым и юным.

Солнце, наконец, прорвало тучи,
разогнало их в стороны и ослепило Неву и
набережные своим сиянием.



Биография автора

Александр Самойлович Экмекчи родился 13 сентября 1920 года в городе Николаеве Одесской области. Его отец, Самуил Моисеевич Экмекчи, служил присяжным поверенным в Петербурге в годы правления императора Николая II. После победы революции Самуил Моисеевич вернулся в родной город Николаев, где и работал адвокатом в течение многих лет. Мать Александра, Ида Моисеевна, получила юридическое образование в Германии, она вернулась в Россию в 1915 году и жила в городе Николаеве, откуда и была родом. Оба их сына, Александр и Анатолий, последовали примеру отца и матери и стали адвокатами, закончив юридический факультет Ленинградского государственного университета.

Александр, старший сын, был призван в армию сразу после окончания университета и воевал на Ленинградском фронте с 1941 по 1945 годы. В 1945 году его перевели в Маньчжурию, где он прослужил ещё один год. В 1946 году он был демобилизован, вернулся в Ленинград и был принят на работу в Ленинградскую коллегия адвокатов.

Большинство его повестей и рассказов были написаны во время войны или сразу после её окончания с 1947 по 1955 годы. Он также оставил сборник фронтовых стихов, написанных в годы войны.

В 1954 году Александр женился, в 1955 году родилась дочь Лена, а в 1962 году, по настоянию жены, семья переехала в Москву. Александр продолжал работать адвокатом, был избран членом президиума Московской Городской Коллегии Адвокатов.

Повесть “Кремнистый путь” написана в 1955 году.

А.С. Экмекчи неоднократно пытался издать свои повести, но бдительная советская цензура его произведения к печати не допустила.

Александр Самойлович Экмекчи умер в 1982 году, в Москве, и был похоронен на кладбище Донского монастыря. Его жена, дочь с мужем и двумя сыновьями переехали жить в Америку в 1988 году.

Александр Экмекчи
Кремнистый путь
Семь искусств, Ганновер 2019. 178 стр. 3,1 а.л.

© Александр Экмекчи (текст)
© Семь искусств (оформление)

Техническое редактирование
и компьютерная верстка Геннадия Швеца

Семь искусств
Ганновер 2019